

Дмитрий Григорович

Рыбаки



Часть сборника
Гуттаперчевый мальчик
(сборник)



Дмитрий Васильевич Григорович

Рыбаки

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=173229
Гуммаперчевый мальчик: Эксмо; М.: 2006
ISBN 5-699-18785-5*

Аннотация

«Северная часть Тульской губернии, которая, как известно, отделяется от уездов Московской губернии широкою лентою Оки, может назваться одною из самых живописных местностей средней России. Она подымается крутым хребтом у самой реки и представляет нескончаемую перспективу зеленеющих выпуклых холмов, долин и обрывов, которые с одной стороны смотрятся в Оку, с другой – убегают, постепенно смягчаясь, во внутренность земель. Тут на протяжении нескольких верст не встречаешь иногда гладкой, ровной десятины...»

Содержание

Часть первая	4
I	4
II	9
III	13
IV	16
V	21
VI	27
VII	33
VIII	40
IX	48
Часть вторая	55
X	55
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Дмитрий Григорович Рыбаки

Часть первая

I

Два пешехода

Северная часть Тульской губернии, которая, как известно, отделяется от уездов Московской губернии широкою лентою Оки, может назваться одною из самых живописных местностей средней России. Она подымается крутым хребтом у самой реки и представляет нескончаемую перспективу зеленеющих выпуклых холмов, долин и обрывов, которые с одной стороны смотрятся в Оку, с другой – убегают, постепенно смягчаясь, во внутренность земель. Тут на протяжении нескольких верст не встречаешь иногда гладкой, ровной десятины: холмы идут за холмами, образуя бесчисленное множество изгибов и лощин, на дне которых журчат ручьи, иногда даже маленькие речки вроде Смедвы. На каждом шагу открываются новые ландшафты; глаза не утомляются скучным однообразием степи. Но зато дороги (как и следует, впрочем, ожидать) решительно здесь непроходимы. Этому столько же способствует почва и расположение самой местности, сколько частое сообщение между деревнями и рекою, близость которой всегда оживляет окрестность. Каждый путник, каждая кляча, соображаясь с естественными препятствиями и руководимые своим собственным соображением и опытом, проводят здесь свою тропинку. Кроме того, каждое время года обозначает еще свой путь: где по весне проходила дорога, там к лету образовался овраг, – и наоборот: где был овраг, там благодаря осеннему наносу ила открывалась ровная поверхность. Местами сосновый лес замыкает дорогу и так тесно сжимает ее, что нет ствола, на котором бы оси колес не провели царапины или не положили дегтярного знака; местами предстоит въезжать по самую ступицу в сыпучий песок или, что еще хуже, приходится объезжать на авось топкие места на дне лощин. Все это в совокупности составляет изрядный хаос, часто, впрочем, служащий преддверием наших больших рек с нагорной стороны.

В последних числах марта, в день самого Благовещения, на одной из таких дорог, ведущей из села Сосновки к Оке, можно было встретить оборванного старика, сопровождаемого таким же почти оборванным мальчиком. Время было раннее. Снежные холмистые скаты, обступившие дорогу, и темные сосновые леса, выглядывающие из-за холмов, только что озаарились солнцем.

Со всем тем в воздухе начинала уже чувствоваться какая-то легкость, предвещавшая к полудню оттепель. Время полной распутицы еще не наступило; но не было уже никакой возможности ехать на санях: снег, подогреваемый сверху мартовским солнцем, снизу – отходившей землею, заметно осаживался; дорога не держала копыта лошадей; темно-бурый цвет резко уже отделил ее от полей, покрытых тонкою ледяною коркой, сквозь которую проламывались черные засохшие стебли прошлогодних растений. По мере того как солнце подымалось выше, небосклон со стороны Оки синел и покрывался туманом, вернейшим знаком скорой оттепели, по мнению местных пахарей и рыболовов. Скаты холмов, обращенные к югу, начинали желтеть и мокнуть; лощины наполнялись водою; кое-где даже показывалась земля, усеянная камнями. Этим, впрочем, и ограничивались признаки наступавшей весны:

на проталинках не видно было покуда ни жаворонка, ни грача – первого возвестника тепла, первой хлебной птицы; землей еще не пахло...

Безнадежное состояние сосновской дороги действовало различно на двух путешественников. Мальчик, бежавший в некотором расстоянии от старика, кричал, свистел, производил отчаянные скачки, умышленно заползал в лужи и радостно бил ногами в воде. Старик был не в духе. Он также приплясывал в лужах, но это приплясывание выражало скорее явную досаду, нежели радость: каждый раз, как лаптишки старика уходили в воду (а это случалось беспрерывно), из груди его вырывались жалобные сетования, относившиеся, впрочем, более к мальчику, баловливости которого была единственной причиной, заставлявшей старика ускорять шаг и часто не смотреть под ноги. Но мальчик не обращал, по-видимому, внимания на жалобные возгласы преклонного своего товарища; казалось, напротив, он еще усерднее принимался тогда шмыгать по лужам.

– Ах ты, окаянный! – кричал старик, и всякий раз с каким-то бессильным гневом, который походил скорее на жалобу, чем на угрозу. – Ах ты, шавель ты этакая! Ступай сюда, говорят!.. Постой, погоди ж ты у меня! Ишь те!.. Постой! Постой, дай срок!.. Вишь, куда его носит!.. Эхва!.. Эхва, куда нелегкая носит!.. Чтоб те быки забодали... У-у... Ах ты, господи! Царица небесная! – заключал он, ударяя руками об полы прорванной сермяги.

Мальчик останавливался, устремлял на спутника пару черных лукавых глаз и, выкинув совершенно неожиданно новую какую-нибудь штуку, продолжал бежать вперед по дороге.

Видно было по всему, что он подтрунивал над стариком и ни во что не ставил его угрозы.

И в самом деле, жалкий, плаксивый вид старика ни в ком не мог пробуждать страха. Все существо его, казалось, насквозь проникнуто было вялостью и бессилием. Свойства эти не были, однако ж, следствием усталости или преклонности лет: три-четыре версты от Сосновки до того места, где мы застали его, никого не могли утомить; что ж касается до лет, ему было сорок пять, и уж никак не более пятидесяти – возраст, в котором наши простолюдины благодаря постоянной деятельности и простой, неприхотливой жизни сохраняют крепость и силу. Отсутствие энергии было еще заметнее на суетливом, худощавом лице старика: оно вечно как будто искало чего-то, вечно к чему-то приглядывалось; все линии шли как-то книзу, и решительно не было никакой возможности отыскать хотя одну резкую, положительно выразительную черту. Худенький нос совершенно неопределенного очертания печально свешивался над провалившимся полуоткрытым ртом, который, по привычке вероятно, сохранял такое выражение, как будто старик униженно что-нибудь выпрашивал; серенькие глазки постоянно щурились, как будто собирались плакать.

Явное намерение усилить по возможности свой и без того уже жалкий, плаксивый вид придавало всей наружности старика что-то полазчивое и униженное.

Дядя Аким (так звали его) принадлежал к числу тех людей, которые весь свой век плачут и жалуются, хотя сами не могут дать себе ясного отчета, на кого сетуют и о чем плачут. Если было существо, на которое следовало бы по-настоящему жаловаться дяде Акиму, так это, уж конечно, на самого себя. История его заключается вся в нескольких строках: у Акима была когда-то своя собственная изба, лошади, коровы – словом, полное и хорошее хозяйство, доставшееся ему после отца, зажиточного мужика, торговавшего скотом. Но не впрок пошло такое добро. Не привыкши сызмала ни к какой работе, избалованный матерью, вздорной, взбалмошной бабой, он так хорошо повел дела свои, что в два года стал беднейшим мужиком своей деревни. Крестьянину разориться нетрудно: прогуляй недели две во время пахоты да неделю в страдную, рабочую пору – и делу конец! Детей не было у Акима: после смерти матери он остался один с женою. Жена его, существо страдальческое, безгласное, бывши при жизни родителей единственной батрачкой и ответчицей за мужа, не смела ему перечить; к тому же, как сама она говорила, и жизнь ей прискучила. Молча жила она, молча сошла и в

могилу. Дела Акима пошли тогда еще плоше. Остался он наконец без крова и пристанища, или, как выразительно сказал его сосед, остался он крыт светом да обнесен ветром. Аким заплакал, застонал и заохал. До того времени он в ус не дул; обжигался день-деньской на печке, как словно и не чаял своего горя. Но убивайся не убивайся, а жить как-нибудь надо. Пошел Аким наниматься к соседям в работники. Но уживался он недолго на одном и том же месте. Этому не столько содействовала лень, сколько безалаберщина и какая-то странная мелочность его нрава. Требовалось ли починить телегу – он с готовностью принимался за работу, и стук его топора немолчно раздавался по двору битых два часа; в результате оказывалось, однако ж, что Аким искромсал на целые три подводы дерева, а дела все-таки никакого не сделал – запряг прямо, как говорится, да поехал криво! Хозяин поручает ему плетень заплести: ладно! Аким отправляется в болото, нарубает целый воз хворосту, возвращается домой, с песнями садится за работу, но вместо плетня выплетает настилку для подводы или верши для лова рыбы. В самонужную рабочую пору он забавляется изделием скворечниц или дудочек для ребятишек. Требуется ли исправить хомуты – он идет покрывать крышу; требуется ли покрывать крышу – он прочищает колодец. Но зато в разговоре, разговоре дельном, толковом, никто не мог сравниться с Акимом; послушать его: стоя едет, семерых везет! Жаль только, что слова его никогда не соответствовали делу: наговорил много, да толку мало – ни дать ни взять, как пузырь дождевой: вскочил – загремел, а лопнул – и стало ничего!

Раз нанялся он работником у одного смедовского мельника. Мельнику встретилась надобность отлучиться недели на две из дому. Накануне отъезда приводит он Акима к плотине и говорит ему:

– Смотри, – говорит, – вот в этом месте вода начинает подсачиваться; завтра же чем свет вали сюда землю и навоз. Долго ли до греха: нет-нет да и плотину промоет...

– Как не промыть! – говорит Аким рассудительным, деловым тоном. – Тут не только промоет – все снесет, пожалуй. Землей одной никак не удержишь – сила! Я, – говорит, – весь берег плитнячком выложу: оно будет надежнее. Какая земля! Здесь камень только впору!

Но этим еще не довольствуется Аким: он ведет хозяина по всем закоулкам мельницы, указывает ему, где что плохо, не пропускает ни одной щели и все это обещает исправить в наилучшем виде. Обнадеженный и вполне довольный, мельник отправляется. Проходят две недели; возвращается хозяин. Подъезжая к дому, он не узнает его и глазам не верит: на макушке кровли красуется резной деревянный конь; над воротами торчит шест, а на шесте приделана скворечница; под окнами пестреет вычурная резьба...

– Ай да Аким! Вот нажил себе работника: мастак, нечего сказать! На все руки парень!

Но в это время глаза мельника устремляются на плотину – и он цепенеет от ужаса: плотины как не бывало; вода гуляет через все снасти... Вот тебе и мастак-работник, вот тебе и парень на все руки! Со всем тем, боже сохрани, если недовольный хозяин начнет упрекать Акима: Аким ничего, правда, не скажет в ответ, но уж зато с этой минуты бросает работу, ходит как словно обиженный, живет как вон глядит; там кочергу швырнет, здесь ногой пихнет, с хозяином и хозяйкой слова не молвит, да вдруг и перешел в другой дом.

В продолжение семи лет он столько переменил хозяев, что даже прозвища их не помнил.

Живал он в пастухах, нанимался сады караулить, нанимался на мельницах, на паромках, на фабриках, исходил почти все дома во всех приречных селах – и все-таки нигде не пристраивался.

Раз, однако ж, счастье как словно улыбнулось ему. Это произошло ровно за восемь лет до начала нашего рассказа. Аким случайно как-то встретился с одинокой вдовствующей солдаткой, проживавшей в собственном домике, на собственной земле; он нанялся у нее батраком и прожил без малого лет пять в ее доме. Не следует заключать из этого, что Аким взялся наконец за ум и решился сделаться деловым мужиком: ничуть не бывало! Он

остался все тем же пустопорожним работником и ни на волос не изменил своего нрава. Еще менее следует отнести такой факт к необыкновенной терпимости или сговорчивости солдатки. Новая хозяйка Акима была самая задорная, назойливая и беспокойная баба; по уверению соседок, она ела и «полоскала» своего работника с ранней утренней зари вплоть до поздних петухов. Несмотря на такое частое полоскание, Аким не думал, однако ж, расставаться с домом солдатки. Словоохотливые соседки утверждали, впрочем – положительно утверждали, что такое упорство со стороны Акима единственно происходило из привязанности его к сыну хозяйки, родившемуся будто бы год спустя после вступления батрака в дом солдатки. Не знаю, насколько верны такие доводы; положительно известно только, что привязанность Акима к ребенку была действительно замечательна. Он не выпускал его из рук, нянчился с ним как мамка; не было еще недели ребенку, как уже Аким на собственные деньги купил ему кучерскую шапку. Он, правда, немножко ошибся в расчете: шапка не только свободно входила на голову младенца, но даже покрывала его всего с головы до ног; но это обстоятельство нимало не мешало Акиму радоваться своей покупке и выхвалять ее встречному и поперечному. Бывало, день-деньской сидит он над мальчиком и дует ему над ухом в самодельную берестовую дудку или же возит его в тележке собственного изделия, которая имела свойство производить такой писк, что, как только Аким тронется с нею, бывало, по улице, все деревенские собаки словно взбесятся: вытянут шеи и начнут выть.

– Эх их подняло!.. Знать, Аким возит своего солдатенка! – говорят бабы.

Так прожил Аким пять лет, вплоть до той самой минуты, когда солдатка его отдала богу душу.

Последующая жизнь его была преисполнена горестей и неудач всякого рода. Если б кто-нибудь из окрестных мужиков нуждался в няньке, Аким мог бы еще как-нибудь пристроиться, но дело в том, что окрестным мужикам нужен был только дюжий деловой батрак. К тому же в эти пять лет Аким окончательно уже обленился и стал негоден ни к какой работе. Поднял он себе на плечи сиротинку-мальчика и снова пошел стучаться под воротами, пошел толкаться из угла в угол; где недельку проживет, где две – а больше его и не держали; в деревне то же, что в городах, – никто себе не враг. «На тебе хлеба, да и бог с тобой!» С этого-то времени, понукаемый большею частью нуждою, и начал он набрасывать на себя жалкенький, плаксивый вид, имевший целью возбуждать сострадание ближних. Цель эта с каждым днем достигалась плоше и плоше. Жаловался он всем, да никто уже его не слушал!

Не далее как накануне того самого утра Благовещения, когда мы застали Акима на дороге, его почти выпроводили из Сосновки. Он домогался пасти сосновское стадо; но сколько ни охал, сколько ни плакал, сколько ни старался разжалобить своею бедностью и сиротством мальчика, пастухом его не приняли, а сказали, чтоб шел себе подобиру-поздорову.

– Знаем мы, брат, каков ты есть, – говорили сосновцы, – не дают – просишь, дадут – бросишь. Такой уж ты человек уродился... Ступай с богом!

Поставленный этим отказом в самое крайнее, почти безвыходное положение, Аким решился прибегнуть к одной дальней родственнице по матери. Родственница была замужем за рыбаком, который жил на горной стороне Оки, верстах в семи или восьми от Сосновки. Не будь мальчика на руках у Акима, он ни за что не предпринял бы такого намерения: муж родственницы смолodu еще внушал ему непобедимый страх. Рыбак был человек деятельный, расторопный – крепкий был мужик, пустыми делами не занимался, любил работать, любил также, чтоб и люди не тормозили рук. Аким знал, что муж родственницы не больно его жалует: сколько раз даже рыбак гонял его от себя. Но, с другой стороны, дядя Аким знал также, что парнишка стал в сук расти, сильно балуется и что надо бы пристроить его к какому ни на есть рукомеслу. Вот это-то обстоятельство невольно подавляло в нем страх и заставило его направиться к Оке. Забота его заключалась теперь в том только, чтобы рыбак не отказал взять к себе парнишку. Сокрушаясь мыслями, которые, все без исключения, зарождались по

поводу парнишки, дядя Аким не переставал, однако ж, кричать на мальчика и осыпать его угрозами.

– Ах ты, безмятежный, пострел ты этакой! – тянул он жалобным своим голосом. – Совести в тебе нет, разбойник!.. Вишь, как избаловался, и страху нет никакого!.. Эх его носит куда! – продолжал он, приостанавливаясь и следя даже с каким-то любопытством за ребенком, который бойко перепрыгивал с одного бугра на другой. – Вона! Вона! Вона!.. О-х, шустер! Куда шустер! Того и смотри, провалится еще, окаянный, в яму – и не вытащишь... Я тебя! О-о, погоди, погоди, постой, придем на место, я тебя! Все тогда припомню!

В ответ на это мальчик приподнял обеими руками высокую баранью шапку (ту самую, что Аким купил, когда ему минула неделя, и которая даже теперь падала на нос), подбросил ее на воздух и, не дав ей упасть на землю, швырнул ее носком сапога на дорогу.

– Ну вот, поди ж ты! А? – вымолвил дядя Аким с таким выражением, которое ясно показывало, что он скорее удивлялся выходке баловня, чем сердился на него. – Эй, Гришутка, стой! Стой! Не по той дороге пошел! Вернись назад, вернись, говорят! – подхватил немного погодя Аким, отчаянно размахивая оборванными рукавами, – вернись назад: не ходи, говорят; ступай сюда! Ну, так и есть, пошел теперь по снегу шмыгать!.. Да ты обогни лучше дорогу-то, баловень ты этакой!.. Нет, дует себе по снегу, да и полно! Что ты станешь с ним делать? Ну, на то ли я тебе сапоги-то купил, а? – продолжал старик жалобным, плаксивым голосом. – На то ли сапожишки-то купил, чтобы ты шмыгал ими по лужам! Сам лаптишки обул – дырявые лаптишки, ему сапоги дал; а он... ах ты, безмятежный, разбойник ты этакой, пра, разбойник! – заключил он, сворачивая на едва заметную тропинку и суетливо преследуя мальчика, который продолжал бежать вперед, очевидно увлекаемый против воли непомерно тяжестью новых сапогов своих.

II

Утро Благовещения

Дорога, на которую свернул теперь дядя Аким вместе с мальчиком, служила в зимнее время единственным сообщением между домом рыбака, куда они направлялись, и Сосновкой. Так как сообщения с этой последней было вообще очень мало – рыбак сбывал по большей части свою добычу в Коломну или села, лежащие на луговой стороне Оки, – то наши путники принуждены были идти почти наобум. Единственной путеводной точкой служил старый дуб, черневшийся в отдалении, на обнаженном холме. Держась этого направления, Аким и непокорный вожак его достигли наконец подошвы горы, за которой располагалась Ока.

Солнце не успело еще обогнуть гору, и часть ее, обращенная к путешественникам, окутывалась тенью. Это обстоятельство значительно улучшало снежную дорогу: дядя Аким не замедлил приблизиться к вершине. С каждым шагом вперед выступала часть сияющего, неуловимо далекого горизонта... Еще шаг-другой, и дядя Аким очутился на хребте противоположного ската, круто спускавшегося к реке.

С этого места открывалось пространство, которому, казалось, конца не было: деревни, находившиеся верстах в двадцати за Окою, виднелись как на ладони; за ними синели сосновые леса, кой-где перерезанные снежными, блистающими линиями. Ближе тянулись озера: покрытые снегом наравне с лугами, но обозначавшиеся серою каймою лесистых берегов своих, они принимали вид небольших продолговатых кругов; многие из них имели, однако ж, версты три в окружности. Столетние дубы, одиноко возвышавшиеся между озерами, мелькали как точки. Миллионы галок кружились отдельными стаями над лугами и озерами; крики их, пропадавшие в воздухе, еще сильнее давали чувствовать всю необъятность этого простора, облитого солнцем и пропадавшего в невидимом, слегка отуманенном горизонте.

Действие оттепели делалось особенно заметным по всему скату крутого берега, целиком обращенного к солнцу. Ручьи гремели со всех сторон; каждая колея и расселина обращались в поток, кативший мутную желтую воду к Оке, которая начинала уже синеть и отделялась земляною бахромою от снежных берегов своих. Кое-где чернели корни кустов, освобожденные от сугробов; теплые лучи солнца, пронизывая насквозь темную чащу сучьев, озаряли в их глубине свежие, глянцевиные прутьки, как бы покрытые красным лаком; затверделый снег подтачивался водою, хрустел, изламывался и скатывался в пропасть: одним словом, все ясно уже говорило, что дуло с весны и зима миновала.

– Эге, овражки-то, овражки как разыгрались! Словно к Святой время пришло! – вымолвил Аким, прикладывая ладонь к глазам и озираясь на стороны, чтоб отыскать мальчика, который, присев на корточки подле потока, швырял в воду камни. – Опять задурил! Вона!.. Вона!.. Эхва! Ах ты, господи! Да угомонись ты хоть на время-то. Ну, куда те несет? А? Куда? А... а?... Ступай сюда, бесстыжий ты этакой!.. Куда опять побежал? Ступай сюда!.. Вон нам куда идти-то, вон куда! – промолвил старик, указывая левою рукой на подошву ската.

С той точки, где стоял Аким, дом рыбака заслонялся крутыми выступами берега. Он показался тогда лишь, когда старик подошел к краю широкой пропасти, расхолодившейся амфитеатром. Жилище рыбака располагалось в глубине этого амфитеатра, на возвышенной площадке, которую не затопляла вода даже и в самые сильные разливы. Оно состояло из избы и нескольких навесов, соединенных плетнями; окна избы были обращены на реку. Часть площадки, находившаяся за избою, была занята огородом: ряды тоненьких полосок, которые чернели сквозь снег, явственно обозначали гряды. За огородом, у подошвы кремнистого обрыва, высилась группа ветел; из-под корней, приподнятых огромными камнями, вырывался ручей; темно-холодною лентой сочился он между сугробами, покрывав-

шими подошву ската, огибал владения рыбака и, разделившись потом на множество рукавов, быстро спускался к Оке, усыпая берег мелким бульжником; плетень огорода, обвешанный пестрым тряпьем и белыми рубашками, не примыкал к избе: между ними находился маленький проулок, куда выходили задние ворота. Тропинка, протоптанная от ворот, вела к задней части огорода, перескакивала через ручей, всползала на кручу и, извиваясь между кустарником, выбегала на окраину пропасти.

Ступив на тропинку, Аким снова повернулся к мальчику; убедившись, что тот следовал за ним не в далеком расстоянии, он одобрительно кивнул головою и начал спускаться.

По мере приближения к жилищу рыбака мальчик заметно обнаруживал менее прыткости; устремив, несколько исподлобья, черные любопытные глаза на кровлю избы и недоверчиво перенося их время от времени на Акима, он следовал, однако ж, за последним и даже старался подойти к нему ближе. Наконец они перешли ручей и выровнялись за огородом. Заслышав голоса, раздавшиеся на лицевой стороне избы, мальчик подбежал неожиданно к старику и крепко ухватил его за полу сермяги.

– Э, э! Теперь так вот ко мне зачал жаться!.. Что, баловень? Э? То-то! – произнес Аким, скорчивая при этом лицо и как бы поддразнивая ребенка. – Небось запужался, а? Как услышал чужой голос, так ластиться стал: чужие-то не свои, знать... оробел, жмешься... Ну, смотри же, Гришутка, не балуйся тут, – ох, не балуйся, – подхватил он увещательным голосом. – Станешь баловать, худо будет: Глеб Савинович потачки давать не любит... И-и-и, пропадешь – совсем пропадешь... так-таки и пропадешь... как есть пропадешь!..

Аким говорил все это вполголоса, и говорил, не мешая заметить, таким тоном, как будто относил все эти советы к себе собственно; пугливые взгляды его и лицо показывали, что он боялся встречи с рыбаком не менее, может статься, самого мальчика.

– Ну, пойдем... Чего ждать?.. Пойдем, Гришутка... – произнес нерешительно дядя Аким.

– Не пойду! – воскликнул вдруг мальчик, порываясь назад.

Но Аким успел ухватить его за руку.

– Чего же ты нейдешь?.. Чего взаправду боишься?.. Пойдем, говорят...

– Не хочу, не пойду! – повторял мальчик, упираясь ногами.

– А, так ты опять за свое, опять баловать!.. Постой, постой, вот я только крикну: «Дядя Глеб!», крикну – он те даст! Так вот возьмет хворостину да тебя тут же на месте так вот и отхлещет!.. Пойдем, говорю, до греха...

Побежденный таким доводом, мальчик тотчас же замолк и еще плотнее прижался к своему спутнику.

Аким перекрестился, взял мальчика за руку и, придав наружности своей самый жаленький вид, пошел вперед, приковыливая с ноги на ногу.

Опасения Акима ничем, однако ж, не оправдались: в настоящую минуту он не застал рыбака перед крылечком избы. Тут находилась только жена Глеба Савинова – женщина уже пожилая, сгорбленная, и подле нее младший сын, хорошенький белокурый мальчик лет восьми, державший в руках какое-то подобие птицы, сделанной из теста. Для полноты сходства в глаза и нос этой птицы воткнуты были зерна овса. Такие же точно изображения наполняли подол матери; и тогда как одна рука ее поддерживала складки подола, другая брала поочередно одну птицу за другую и высоко подбрасывала их на воздух.

– Жаворонки прилетели! Жаворонки прилетели! – радостно кричала она, забрасывая простодушные изображения первой весенней птички на соседнюю кровлю и навесы. – Жаворонки прилетели! Вон, вон, еще один! Поглядь-кась, Ванюша, поглядь, соколик! Вон

еще один! – продолжала она, суетясь вокруг мальчика, который, успев уже отведать жаворонка, бил, смеясь, в ладоши и жадно следил за всеми движениями матери¹.

Ободренный такою мирною сценою, дядя Аким выступил вперед и очутился против старухи в ту самую минуту, как она подбрасывала свой последний жаворонок.

Аким низко поклонился.

– Матушка... Анна Савельевна... касатушка... – сказал он жалобным, нищенским голосом, – дай ему, парнечку-то моему, жавороночка!.. Дай, касатушка! Оробел добре... вишь... Дай, родная, жавороночка-то...

– Батюшки! Царица небесная! Акимушка! Ты ли это?

– Я, матушка, – произнес Аким, жалостливо свешивая набок голову. – Как вас бог милует? – присовокупил он со вздохом и перевесил голову на один бок.

– Живем по милости царицы небесной... Ну, а ты как, родимый? Откуда тебя бог несет?

– А из Сосновки, матушка, из Сосновки... О-ох, вас пришел проведать. Пойду-ка, мол, погляжу, говорю...

Аким поднял глаза и тут же остановился, увидев в воротах грозную фигуру Глеба Савинова.

Солнце освещало рыбака с головы до ног и позволяло различать тончайшие морщинки на высоком лбу его. То был рослый, плечистый мужик, с открытым, румяным лицом, сохранившим энергическое, упрямое, но далеко не грозное выражение. Черты его были строги и правильны; но они как нельзя более смягчались большими светло-серыми быстрыми глазами, насмешливыми губами и гладким, необыкновенно умным лбом, окруженным пышными кудрями черных волос с проседью. Наружность его принадлежала скорее весельчаку, чем человеку сурового, несообщительного нрава. Со всем тем стоило только взглянуть на него в минуты душевной тревоги, когда губы переставали улыбаться, глаза пылали гневом и лоб нахмуривался, чтобы тотчас же понять, что Глеб Савинов не был шутливой десятка. В настоящую минуту он находился, по-видимому, в отличнейшем настроении духа. Поддерживая обеими руками новенькие верши, которые торчали у него под мышками, он весело пошел навстречу гостю.

Жена дала ему дорогу и поспешила закрыть фартуком сына, который принялся было закусывать вторым жаворонком.

– А-а-а! Здорово, сватьяшка! Добро пожаловать! – воскликнул рыбак, насмешливо потряхнув головою.

– Здравствуй, Глеб Савинович! – сказал Аким таким голосом, как будто он только что лишился отца, матери и всего имущества.

– Здравствуй, сватьяшка!.. Ну-ну, рассказывай, отколе? Зачем?.. Э, э, да ты и парнишку привел! Не тот ли это, сказывали, что после солдатки остался... Ась? Что-то на тебя, сват Аким, смахивает... Маленько покоренастее да поплотнее тебя будет, а в остальном – весь, как есть, ты! Вишь, рот-то... Эй, молодец, что рот-то разинул? – присовокупил рыбак, пригибаясь к Грише, который смотрел на него во все глаза. – Сват Аким, или он у тебя так уж с большим таким ртом и родился?

– Накричал, Глеб Савинович! – простодушно отвечал Аким.

– Что ж так? Секал ты его много, что ли?.. Ох, сват, не худо бы, кабы и ты тут же себя маненько, того... право слово! – сказал, посмеиваясь, рыбак. – Ну, да бог с тобой! Рассказывай, зачем спозаранку, ни свет ни заря, пожаловал, а? Чай, все худо можется, нездоровится...

¹ Обряд этот совершается простолюдинами Тульской губернии ежегодно в утро Благовещения; в это утро (так по крайней мере уверяет народ) прилетают жаворонки – первые возвестители тепла. В ознаменование такой радости домохозяйки пекут из теста их изображения и разбрасывают их на кровли домов. (Прим. автора.)

в людях тошно жить... так стало тому и быть! – довершил он, заливаясь громким смехом, причем верши его и все туловище заходили из стороны в сторону.

– Нет, Глеб Савиныч, что ж мне от людей бегать... Кабы не...

– Скажешь небось: люди виноваты?

– Свет ноне не тот стал, Глеб Савиныч, вот что! – произнес со вздохом Аким. – Я ли отлынивал когда от дела? Я ли не был работником? Никто от меня и синя-пороха не видал, не токмо другого худого дела какого, – а все я во всем повинен... Нет, свет ноне не тот стал, Глеб Савиныч: молодых много оченно развелось – вот что! Вот хошь бы вечор: пришел я в Сосновку, прожил там восемь ден; бился, бился – норовил ихнее стадо стеречь. «Я ли, говорю, не пастух? Я ли эваго дела не ведаю?...», а они все свое... Взяли да молодого и найми! О-ох, такая уж, знать, моя сиротская доля!.. Ну, как вышло у меня это дело, я и мерекаю так-то себе: пойду-ка, говорю, понаведаюсь к... Глебу Савинычу... с родни он мне... авось, говорю, взмилуется он надо мною... Глеб Савиныч! Будь отцом родным! – промолвил Аким, низко кланяясь и нагибая левою рукою голову Гришки, – Глеб Савиныч, пособи, кормилец!

Но рыбак сделал вид, как будто не слышал последних слов Акима: он тотчас же отвернулся в сторону, опустил на землю верши и, потирая ладонью голову, принялся осматривать Оку и дальний берег.

– Эх, какую теплынь господь создал! – сказал он, озираясь на все стороны. – Так и льет... Знатный день! А все «мокрык»² подул – оттого... Весна на дворе – гуляй, матушка Ока, кормилица наша!.. Слава те, господи! Старики сказывают: коли в Благовещение красен день, так и рыбака станет знатно ловиться...

Во время этого монолога жена Глеба и дядя Аким не переставали моргать и подавать друг другу знаки; наконец последний сделал шаг вперед и кашлянул.

– Чего тебе? – нехотя спросил рыбак.

– Батюшка, Глеб Савиныч, пособи, кормилец!

– Экой ты, братец ты мой, какой человек несообразный! Заладил: пособи да пособи! Застала, знать, зима в летней одежде, пришла нужда поперек живота, да по чужим дворам: пособи да пособи! Ну, чем же я тебе пособию, сам возьми в толк!

– Ты только выслушай, что я скажу тебе...

– А что слушать-то?

– Да выслушай только... Матушка, Анна Савельевна, хоть ты взмилуйся; скажи ты ему...

Старуха взглянула на мужа, но тотчас же понурила голову и стала перебирать складки передника.

– Ну, ступай в избу! – сказал рыбак после молчка, сопровождавшегося долгим и нетерпеливым почесыванием затылка. – Теперь мне недосуг... Эх ты! Во тоске живу, на печи лежу! – добавил он, бросив полупрезрительный-полунасмешливый взгляд на Акима, который поспешно направился к избе вместе со своим мальчиком, преследуемый старухой и ее сыном.

Глеб Савиныч проводил его глазами; наконец, когда дядя Аким исчез за воротами, рыбак сделал безнадежный жест рукой и сказал, выразительно тряхнув головой:

– Пустой человек!

Затем он приподнял свои верши, сунул их под мышку и решительным шагом направился к берегу, где виднелись две-три опрокинутые лодки и развешанный, сушившийся на солнце бредень.

² Юго-западный ветер на наречии рыбаков и судопромышленников. (Прим. автора.)

III

Семейство рыбака

Семейство рыбака было многочисленно. Кроме жены и восьмилетнего мальчика, оно состояло еще из двух сыновей. Старший из них, лет двадцати шести, был женат и имел уже двух детей. Дядя Аким застал всех членов семейства в избе. Каждый занят был делом.

У входа располагался второй сын, юноша лет девятнадцати. Он представлял совершеннейший тип тех приземистых, но дюжесплоченных парней с румянцем во всю щеку, вьющимися белокурыми волосами, белой короткой шеей и широкими, могучими руками, один вид которых мысленно переносит всегда к нашим столичным щеголям и возбуждает по поводу их невольный вопрос: «Чем только живы эти господа?» Парень этот, которому, мимоходом сказать, не стоило бы малейшего труда заткнуть за пояс десяток таких щеголей, был, однако ж, вида смирного, хотя и веселого; подле него лежало несколько кусков толстой березовой коры, из которой вырубал он топором круглые, полновесные поплавки для невода. Наружность старшего сына, Петра, была совсем другого рода: исполинский рост, длинные члены и узкая грудь не обещала большой физической силы; но зато черты его отражали энергию и упрямство, которыми отличался отец. Сходства между ними было, однако ж, мало. Лицо Петра сохраняло мрачное, грубое выражение, чему особенно способствовали черные как смоль волосы, рассыпавшиеся в беспорядке, вдавленные черные глаза, выгнутые густые брови и необыкновенная смуглость кожи, делавшие его похожим на цыгана, которого только что провели и надули. Петр и жена его, повернувшись спиной к окнам, пропускавшим лучи солнца, сидели на полу; на коленях того и другого лежал бредень, который, обогнув несколько раз избу, поднимался вдруг горою в заднем углу и чуть не доставал в этом месте до люльки, привешенной к гибкому шесту, воткнутому в перекладину потолка. Тонкая бечевка, привязанная одним концом к шесту, другим концом к правой руке жены Петра, позволяла ей укачивать ребенка, не прерывая работы (простой этот механизм придумал Глеб Савинов, строго наблюдавший, чтоб в доме его никто не бил попусту баклуши). Второй ребенок рыбака Петра, вооруженный ломтем хлеба, которого стало бы на завтрак тридцатилетнему батраку, валялся на неводе, в двух шагах от матери.

Петр, его брат и жена изредка перекидывались словами; все трое, особенно Петр, были как словно чем-то недовольны. Починка невода подвигалась вперед, поплавки умножались под топором Василия (так звали второго сына); но видно было, что работа шла принужденно. Василий часто опускал топор, садился на корточки и, толкнув дверь, устремлял глаза в сени, из которых можно было обозревать часть двора и ворота, выходившие на Оку. Петр реже отрывался от дела; он вязал петлю за петлей и, несмотря на неудовольствие, написанное на каждой черте смуглого лица его, быстро подвигал работу. Время от времени подталкивал он локтем жену, которая, условившись, вероятно, заранее в значении этих толчков, поспешно вставала и принималась глядеть в окно. Посла этого она завертывала обыкновенно, как бы по дороге, к люльке и снова усаживалась к неводу.

Появление постороннего лица естественным образом должно было оживить присутствующих. Этому сильнейшим образом содействовала старушка Анна. Она не на шутку обрадовалась своему гостю: кроме родственных связей, существовавших между нею и дядей Акимом – связей весьма отдаленных, но тем не менее дорогих для старухи, он напоминал ей ее детство, кровлю, под которой жила она и родилась, семью – словом, все те предметы, которые ввек не забываются и память которых сохраняется даже в самом зачерствелом сердце. Оживленная воспоминаниями, она осаждала дядю Акима вопросами, обладала его и, не зная уже, чем бы выразить свою радость, принялась снаряжать для него завтрак. Между тем Петр и Василий, встречавшиеся уже не в первый раз с Акимом, вступили, слово за словом, в раз-

говор. Сначала слышались расспросы о том, как поживают там-то и там-то, что поделывает тот-то, каковы дороги, что говорят на стороне, и проч. и проч.; наконец речь завязалась и сделалась общею. Младший сынишка Глеба, смотревший до того времени с каким-то немым притупленным любопытством на спутника Акима, продолжавшего дико коситься на все окружающее, подсел к нему ближе, начал улыбаться и даже вынул из-за пазухи дудку из муравленой глины. Но все эти попытки первоначального ознакомления были вскоре прерваны старушкой, неожиданно явившейся из-за печки с горшком в одной руке, с чашкой и ложками – в другой. Суетливо перекидывая то одну ногу, то другую через невод, который шел изгибами по всему полу, она добралась наконец до стола.

– Прикушай, батюшка, прикушай, Акимушка, – промолвила она, ставя свою ношу на стол, – я чай, умаялся с дороги-то? Куды-те, я чай, плохи стали ноне дороги-то! Парнишечке-то положи кашки... потешь его... Сядь поди, болезный... А как бишь звать-то его?

– Гришутка, матушка Анна Савельевна, Гришутка!

– Сядь поди, Гриша, сядь, соколик!

– Ах ты, матушка ты наша! Ах, ах! Анна Савельевна, как нам за тебя бога молить! Ах ты, родная ты наша! – воскликнул Аким, разводя руками и умиленно взглядывая на старуху.

Язык Акима, смазанный жирною ячменной кашей, ободренный ласковым, приветливым приемом, скоро развязался и замолел без устали: дядя Аким, как уже известно, не прочь был покалякать. Не прерываясь на этот раз охами и вздохами, которые, за отсутствием грозного Глеба Савинова, были совершенно лишними, он передал с поразительною яркостью все свои несчастья, постигшие его чуть ли не со дня рождения. Из слов его оказалось, что свет переродился и люди стали плохи с того самого времени, как он лишился имущества и вынужден был наниматься батраком. Он ли не был работником? Он ли не старался? Нет! Не только никто не дал цены ему, но даже никто не сказал: спасибо! Затем дядя Аким перешел к воспоминаниям более современным и, пропустив почему-то житее свое у покойной солдатки, принялся пояснять настоящее свое положение. Он повторил вчерашнюю историю свою с сосновскими мужиками и объявил, что вот так и так, коли не вступится теперь Глеб Савиныч, коли не взмилуется его сиротством, придется и невесть за что приниматься.

– Да мне что! Куда бы еще ни шло! Пропадай, старая собака: туда и дорога! – примолвил он, махнув рукою. – Не о себе толкую... Вот кого жаль! – подхватил он, указывая на Гришку. – Его хотелось бы пристроить, к какому-нибудь делу произвести... И то сказать: много ли съели бы мы хлеба у Глеба Савиныча! Много ли нам надеть? Ведь не то чтобы даром, братцы, не даром же, матушка Анна Савельевна! Знамо, не стал бы лежать на печи: послать куда, сделать ли что – во всем подсобил бы ему... Я ли не работник! Ну, вот и паренечек также. Вестимо, он теперь махочка: взять нечего; ну, а как подрастет, произойдет ваше рыбацкое рукомесло, так и он также подмогать станет... Я ведь не даром прошусь. Вот об этом-то более и хотел поговорить с Глебом Савинычем... Да вишь ты, он какой крепкий!.. А чего бы, кажись, ему отнекиваться? Я ведь не из-за денег, не из платы бьюсь: только из хлеба и хлопочу...

При этом Петр сомнительно покачал головою.

– Да поди, столкуй с ним, с отцом-то! Ты ему свое, а он те свое, – произнес он, поворачивая к гостю свое смуглое недовольное лицо, – как заберет что в голову, и не сговоришь никак! Хошь бы теперь в моем деле: уперся – нет да нет! А что нет?.. Вот теперь верстах во ста отселева звал меня хозяин – также рыбною ловлей промышляет: только куды! Богач: верст на сорок снял берега, да еще три озера нанимает; места привольные, заведение большое, и рыбы много... Тысяч на пять, сказывают, в одну Коломну рыбы-то продает!.. Ну так вот, звал он меня к себе, и деньги дает хорошие. Говорю намерен отцу: нет да нет, только и слышал! Ну, а что нет-то? Ведь ему же стал бы носить деньги. Положим, хозяин дал бы мне полтора в год (сам сулил столько): ну все же в дом принес бы, по крайности, сколько-

нибудь... А теперь что? Что живу я здесь, что нет меня, никакого толку: смерть прискучило! К тому же своя семья на руках, дети: мало ли нужда какая бывает!.. Скажешь отцу, братится... «Пропьешь», говорит, либо другое что вымолвит. Живешь как словно в ту пору, когда на карачках ползал... Смерть прискучило! Вот хоть бы сама матушка: на что, кажись, тошно ей с нами расставаться, и та скажет: здесь делать мне нечего! Заведение малое – так только кормиться можно... Работа пустая, лов плохой... Останься один брат Вася, и тот управится; а найми он работника подешевле, который... Ну, хоть бы вот возьми он тебя, так и за глаза. Нет же вот, поди! Стал на одном: нет да нет! Что хошь тут делай!

В эту самую минуту заскрипели ворота.

– Батюшка идет! – шепнула жена Петра, подсобляя старушке убрать со стола завтрак и бросаясь к неводу.

Все смолкли и усердно принялись за работу. Хозяйка, стоявшая уже у печки, гремела горшками как ни в чем не бывало.

На пороге избы показался старый рыбак.

Мы уже сказали, что Глеб Савиных находился в отличном расположении духа; веселость его, несмотря на утро, проведенное в труде, нимало, по-видимому, не изменила ему.

– Хозяйка, – сказал он, бросая на пол связку хвороста, старых ветвей и засохнувшего камыша, – на вот тебе топлива: берегом идучи, подобрал. Ну-ткась, вы, много ли дела наделали? Я чай, все более языком выплетали... Покажь: ну нет, ладно, поплавки знатные и неводок, того, годен теперь стал... Маловато только что-то сработали... Утро, кажись, не один час: можно бы и весь невод решить... То-то, по-вашему: день рассвел – встал да поел, день прошел – спать пошел... Эх, вы!

– По сторонам не зевали, – пробормотал Петр, не подымая головы, – сколько велел, столько и сделали, коли не больше, – добавил он почти шепотом.

– Сделали, сделали! То-то сделали!.. Вот у меня так работник будет – почище всех вас! – продолжал Глеб, кивая младшему сыну. – А вот и другой! (Тут он указал на внука, валявшегося на бредне.) Ну, уж теплынь сотворил господь, нечего сказать! Так тебя солнышко и донимает; рубаху-то, словно весной, хошь выжми... Упыхался, словно середь лета, – подхватил он, опускаясь на лавку подле стола, но все еще делая вид, как будто не примечает Акима.

– Я чай, умаялся, Глеб Савиных, устал? – произнес дядя Аким заигрывающим голосом.

– Устал! А с чего устал-то? – полунебрежно-полупрезрительно возразил рыбак. – Нет, сват, нашему брату уставать не показано; наша кость не пареная; всякий труд на себя принимает... А и устал, не бог весть какая беда: поел, отряхнулся – и опять пошел!.. Хозяйка, ну-ткась, чем пустые-то речи говорить, пошевеливайся: давай обедать... пора... Сноха, подсоби ей... Постой, дай-ка мне наперед вон энтот парня-то, что из люльки-то кулаки показывает, – давай его сюда! Экой молодчина! Эки кулачищи-то, подумаешь! – заговорил рыбак, взяв внука на руки и поставив его голыми ножками к себе на колени.

Во все время, как сноха и хозяйка собирали на стол, Глеб ни разу не обратился к Акиму, хотя часто бросал на него косвенные взгляды. Видно было, что он всячески старался замять речь и не дать гостю своему повода вступить в объяснение. Со всем тем, как только хозяйка поставила на стол горячие щи со сметками, он первый заговорил с ним.

IV

За щами и кашей

– Чего ж ты, сватьяшка? Садись, придвигайся! – весело сказал Глеб, постукивая ложкою о край чашки. – Может статься, наши хозяйки – прыткие бабы, что говорить! – тебя уж угостили? А?

Старуха, находившаяся в эту минуту за спиною мужа, принялась моргать изо всей мочи дяде Акиму. Аким взял тотчас же ложку, придвинулся ко щам и сказал:

– Маковой росинки во рту не было, Глеб Савиныч!

– Ну, так что ж ты ломаешься, когда так? Ешь! Али прикажешь в упрос просить? Ну, а парнишку-то! Не дворянский сын: гляденьем сыт не будет; сажай и его! Что, смотрю, он у тебя таким бычком глядит, слова не скажет?

– Знамо, батюшка, глупенек еще, – отвечал Аким, суетливо подталкивая Гришку, который не трогался с места и продолжал смотреть в землю. – Вот, Глеб Савиныч, – подхватил он, переминаясь и робко взглядывая на рыбака, – все думается, как бы... о нем, примерно, сокрушаюсь... Лета его, конечно, малые – какие его лета! А все... как бы... хотелось к ремеслу какому приставить... Мальчишечка смысленый, острый... куды тебе! На всякое дело: так и...

– Что говорить! Всякому свое не мыто бело! С чего ж тебе больно много-то крушиться? Он как тебе: сын либо сродственник приводится? – перебил рыбак, лукаво прищуриваясь.

– Нет... кормилец, приемыш... – пробормотал дядя Аким, жалобно скорчивая лицо.

– Вот как, приемыш... Слышал я, сватьяшка, старая песня поется (тут рыбак насмешливо потрянул головою и произнес скороговоркою): отца, матери нету; сказывают, в ненастье ворона в пузыре принесла... Так, что ли?

Тут он залился смехом, но вскоре снова обратился к гостю:

– Ну, сказывай, о чем же ты хлопочешь?

– Дядюшка Аким говорит, ему, говорит, хочется произвести, говорит, паренечка к нашему, говорит, рыбацкому делу, – неожиданно сказал Василий, высовывая вперед свежее, румяное лицо свое.

– Ох ты: говорит, говорит! – с усмешкою возразил рыбак. – Что ж, дело, дядя Аким, – подхватил он, снова обращаясь к гостю, – наше ремесло не ледащее. Конечно, рыбаку накладнее пахаря: там, примерно, всего одна десятина – ходишь да зернышко бросаешь: где бросил, тут тебе и хлеб готов... Ну, нашему брату не то... Рыбаку ли, охотнику ли требуется больше простору; к тому же и зернышко-то наше живое: где захочет, там и водится; само в руки не дается: поди поищи да погоняйся за ним! С начатия, знамо, трудненько покажется; ну да как быть! Не без этого – привыкнет! Так-то и во всяком деле: тяжело сдвинуть только передние колеса, а сдвинул – сами покатаются!..

– Кабы твоя бы милость была, Глеб Савиныч, – жалобно начал Аким, – век бы стал за тебя бога молить!.. Взмилуйся над сиротинкой, будь отцом родным, возьми ты его – приставь к себе!..

– Куда мне его! У меня и своих не оберешься!

– Кормилец! – воскликнул Аким, подымая на рыбака слезливые глаза свои. – Вестимо, теперь он махочка! Способу не имеет, а подрастет – ведь тебе же, тебе работник будет!

– Коли в тебя уродился, так хоть сто лет проживет, толку не будет, – проговорил рыбак, пристально взглянув на мальчика.

– Батюшка, Глеб Савиныч, да что ж я такое сделал?

– А не больно много – об том-то и говорят!

Глеб окинул глазами присутствующих, посмотрел на младшего сына своего и снова устремил пристальный взгляд на Гришку.

– А который ему год? – спросил он после молчка.

– С зимнего Миколы восьмой годок пошел, батюшка, – поспешил ответить Аким.

– Стало, сверстник моему Ванюшке?

– Однолеточки, Глеб Савиныч, – отозвался Аким таким жалким голосом, как будто дело шло о выпрашивании насущного хлеба обоим мальчикам.

– Что же? – сказал немного погодя рыбак. – Пожалуй, малого можно взять.

– Как нам за тебя бога молить! – радостно воскликнул Аким, поспешно нагибая голову Гришки и сам кланяясь в то же время. – Благодетели вы, отцы наши!.. А уж про себя скажу, Глеб Савиныч, в гроб уложу себя, старика. К какому делу ни приставишь, куда ни пошлешь, что сделать велишь...

Неожиданный могучий смех Глеба прервал дядю Акима.

– Э... э... ох, батюшка!.. Так ты, сват, ко мне в работники пришел наниматься!.. О-о, дай дух перевести... Ну, нет, брат, спасибо!

– Зарок дал...

– Ой ли?

– Как перед господом! Провалиться мне!

Рыбак залился пуще прежнего.

– Ну, нет, сватьяшка ты мой любезный, спасибо! Знаем мы, какие теперь зарок: слава те господи, не впервые встречаемся... Ах ты, дядюшка Аким, Аким-простота по-нашему! Вот не чаял, не гадал, зачем пожаловал... В батраки наниматься! Ах ты, шутник-балясник, ей-богу, право!

При этом дядя Аким, сидевший все время смирно, принялся вдруг так сильно колотить себя в голову, что Василий принужден был схватить его за руку.

– Ах я, глупый! Ах я, окаянный! – заговорил он, отчаянно болтая головою. – Что я наделал!.. Что я наделал!.. Бить бы меня, собаку! Палочьем бы меня хорошенько, негодного!.. Батюшка, Глеб Савиныч, – подхватил Аким, простирая неожиданно руки к мальчику, мешаясь и прерываясь на каждом слове, – что ж я... как же?... Как... как же я без него-то останусь?... Батюшка!

– Твое дело: как знаешь, так и делай, – сухо отвечал рыбак. – Мы эти виды-то видали: смолоду напярл ниток с узлами, да потом: нате, мол, вам, кормильцы, распутывайте!.. Я тебе сказал: парнишку возьму, пожалуй, а тебя мне не надуть!

Аким опустил руки и повесил голову, как человек, которому прочли смертный приговор. Минуты две сидел он неподвижно, наконец взглянул на Гришку, закрыл лицо руками и горько заплакал.

Рыбак посмотрел с удивлением на свата, потом на мальчика, потом перенес глаза на сыновей, но, увидев, что все сидели понуря голову, сделал нетерпеливое движение и пригнулся к щам. Хозяйка его стояла между тем у печки и утирала глаза рукавом.

Несколько минут длилось молчание, прерываемое стуком одной только ложки.

– Вот что, Петрушка, – начал вдруг Глеб, очевидно с тою целью, чтоб замять предстоявший разговор, – весна приходит: пора о лодках побеспокоиться... Ходил нынче смотреть – работы много: челнок вновь просмолить придется, а большую нашу лодку надо всю проконопатить. Сдается мне, весна будет ранняя; еще неделя либо две такие простоят, как нонешняя, глазом не смигнешь – задурит река; и то смотрю: отставать кой-где зачала от берегов. Тогда не до «посудины»³, – присовокупил он, приходя постепенно в свое шутливое расположение духа, – знай только неводок забрасывай да рыбку затаскивай! А в рыбе (коли

³ Так рыбаки называют небольшие обиходные лодки. (Прим. автора.)

только господь создаст ей рождение), в рыбе недостачи, кажись, быть не должно! По приметам, лов нынче будет удачлив!

Петр, упорно молчавший во все время обеда, провел ладонью по волосам и поднял голову.

– Ты, батюшка, и позапрошлый год то же говорил, – сказал он отрывисто, – и тогда весна была ранняя; сдавалось по-твоему, лов будет хорош... а наловили, помнится, немного...

– Чего ж тебе еще?.. Возами возить, что ли? – возразил отец довольно спокойно, чего никак не ожидали присутствующие, знавшие очень хорошо, что Глеб не любил противоречий, особенно со стороны детей. – Слава те господи, должны и за то благодарить... (Глеб жаловался между тем весь протекший год, что рыба плохо ловилась.) Покуда недостатка не вижу: сводим концы с концами; а что далее будет – темный человек: не узнаешь... Главное – требуется во всяком деле порядок наблюдать – вот что; дом – яма, стой прямо! Этим наш брат только и крепок!.. Вишь чего, возами возить захотел! Эх, ты, умница!.. Кабы с нашего участка, что нанимаем, рыбу-то возами возили, так с нас заломили бы тысячу, не то и другую... Сосновское общество знает счет: своего не упустит; а мы всего сто целковых за участок-то платим; каков лов, такая и плата... А ты как думал?..⁴

– Против этого я не спорю.

– Ну, то-то же и есть! А туда же толкует! Погоди: мелко еще плаваешь; дай бороде подрасти, тогда и толкуй! – присовокупил Глеб, самодовольно поглядывая на членов своего семейства и в том числе на Акима, который сидел, печально свесив голову, и только моргал глазами.

– Я не о том совсем речь повел, – снова заговорил Петр, – я говорю, примерно, по нашей по большой семье надо бы больше прибыли... Рук много: я, ты, брат Василий... Не по работе рук много – вот что я говорю.

– Э, Петрушка! Вижу, отселева вижу, куда норовишь багром достать! Ловок, нече сказать; подумаешь: шуку нырять выучит... Жаль только, мелки твои речи, пальцем дно достанешь...

– Доставай, пожалуй; я тебе правду говорю.

– Ой ли? А хочешь, я тебе скажу, какая твоя правда, – хочешь? Ноги зудят – бежать хотят, да жаль, не велят... Все, чай, туда тянет? А?

– Куда?

– Чтой-то за хитрец, право? Куда? Куда?.. Знамо, куда: в «рыбачьи слободки».

При этом веселость снова возвратилась к Глебу; лицо его просияло; он зорко взглянул на сына и засмеялся.

– А хоть бы так, хоть бы и в «рыбачьи слободки»: я, чай, ведь не даром пойду, – произнес Петр отрывистым тоном.

– Что ж, много сулили? – спросил, посмеиваясь, отец.

– Я уж тебе сказывал, – нетерпеливо отвечал сын и отвернулся.

– Точно, сказывал... Слышь, сват Аким, какого я сынка возрастил?.. Да полно тебе хлюпать-то! Послушай лучше наших речей... Слышь: полтора ста рублей сулят, а? А ты все плачешься да жалишься: добрыми людьми, говоришь, свет обеднел. Как нет добрых людей? Я вот, скажу тебе, одного знаю, – промолвил Глеб с усмешкою, косясь на Петра, – чарку поднесешь ему – ни за что не откажется! Такой-то, право, добрый, сговорчивый... Хозяйка,

⁴ Берега Оки, равно как и других рек, составляют собственность частных и казенных имений, к которым примыкают. Правление имений, соображаясь с местами более или менее удачными для лова рыбы, назначает им соответственную ценность и отдает их внаймы рыбакам. (Прим. автора.)

давай перемену; ставь кашу: что-то она скажет... Так как же, Петрушка, в рыбацкие слободки, ась? – продолжал, подтрунивая, отец.

– Оставь, батюшка: я с тобой не к смеху говорю, – сказал Петр, встряхивая волосами и смело встречая отцовский взгляд, – я говорю тебе толком: отпустишь на заработки – тебе лучше; и сам смекаешь, только что вот на своем стоишь.

Старый рыбак нахмурил брови; но это продолжалось одну секунду: лицо его снова засмеялось.

– Будь по-твоему, – сказал он, потешаясь, по-видимому, недовольными выходками сына, – ладно; ну, ты уйдешь, а в дому-то кто останется?

– Останутся ты да брат Василий; а когда мало, работника наймешь – все сходнее...

– Ну, а работнику ты, что ли, из своей мошны станешь платить?

– Я на стороне добуду полтора; работника наймешь ты за половину... другой и меньше возьмет...

Глеб провел ладонью по высокому лбу и сделался внимательнее: ему не раз уже приходила мысль отпустить сына на заработки и взять дешевого батрака. Выгоды были слишком очевидны, но грубый, буйный нрав Петра служил препятствием к приведению в исполнение такой мысли. Отец боялся, что из заработков, добытых сыном, не увидит он и гроша. В последние три дня Глеб уже совсем было решился отпустить сына, но не делал этого потому только, что сын предупредил его, – одним словом, не делал этого из упрямства.

– Ладно, – сказал он, – работник точно сходнее, коли станешь приносить в дом заработки... Ну, а где ж бы ты взял такого работника, который денег-то мало возьмет?

– А вот хошь бы дядюшка Аким; сам говорит: из-за хлеба иду. Чем он тебе не по нраву пришел? Года его нестарые...

Дядя Аким встрепенулся.

– Какие еще мои года! – произнес он, охорашиваясь.

– Полно, сват, что пустое говорить! Года твои точно не старые, да толку в том мало! С чего ж тебя никто не держит-то, а?

– Ох, Глеб Савиныч, батюшка, и рад бы жил, – заговорил Аким с оживлением, какого вовсе нельзя было ожидать от него, – и рад бы... Я ж говорил тебе: нынче старыми-то людьми гнушаются...

– Полно врать, – перебил Глеб, – человеку рабочему везде пробойная дорога...

– То-то, что нет, Глеб Савиныч, – подхватил Аким. – Придешь: «Нет, говорят, случись неравно что, старому человеку как словно грешно поперек сделать; а молодому-то и подзатыльничка дашь – ничего!» Молодых-то много добре развелось нынче, Глеб Савиныч, – вот что! Я ли рад на печи лежать: косить ли, жать ли, пахать ли, никогда позади не стану!

– Тебя послушать: как родился, так уж в дело годился! Полно молодецовать! Я ведь те знаю: много сулишь, да мало даешь! А все оттого, сам сказал: мало смолodu били!.. Эх, кабы учить тебя, учить в свое время, так был бы ты человек. Полно куражиться! Где тебе о чужих делах хлопотать, когда сам с собою не управился!.. Отцом обижен, кажись, не был, а куда пошло? Осталось ни кола ни двора, ни малого живота, ни образа помолиться, ни хлеба перекусить!.. Слоняешься, как шатун-бродяга, по белому свету да стучишь под воротами – вот до чего дошел! Куда ж ты годен после этого?

– Батюшка, Глеб Савиныч! – воскликнул дядя Аким, приподнимаясь с места. – Выслушай только, что я скажу тебе... Веришь ты в бога... Вот перед образом зарок дам, – примолвил он, быстро поворачиваясь к красному углу и принимаясь креститься, – вот накажи меня господь всякими болестями, разрази меня на месте, отсохни мои руки и ноги, коли в чем тебя ослушаюсь! Что велишь – сработаю, куда пошлешь – схожу; слова супротивного не услышишь! Будь отцом родным, заставь за себя вечно бога молить!..

В ответ на это старый рыбак махнул только рукой и встал с места.

– Ну, ребята, – произнес он неожиданно, обращаясь к сыновьям, которые последовали его примеру и крестились перед образами, – пора за дело; бери топоры да паклю – ступай на берег!

Петр и брат его беспрекословно повиновались, взяли топоры и направились к двери. Старый рыбак проводил их глазами.

– Ну, а ты-то что ж, сват? Пойдешь и ты с нами? – принужденно сказал Глеб, поворачиваясь к Акиму, который стоял с поднятою рукой и открытым ртом. – Все одно: к ночи не поспеешь в Сосновку, придется здесь заночевать... А до вечера время много; бери топор... вон он там, кажись, на лавке.

Аким бросился без оглядки на указанное ему место, но, не найдя топора, засуетился как угорелый по всей избе. Хозяйка рыбака приняла деятельное участие в разыскании затерянного предмета и также засуетилась не менее своего родственника.

Во все продолжение этой сцены Глеб Савинов стоял у двери и не спускал с глаз жену и дядю Акима.

Наконец он выразительно тряхнул головою, усмехнулся и вышел из избы.

V

Глеб Савинов

Старый рыбак, как все простолюдины, вставал очень рано. Летом и весною просыпался он вместе с жаворонками, зимою и осенью – вместе с солнцем. На другое утро после разговора, описанного в предыдущей главе, пробуждение его совершилось еще раньше. Это была первая ночь, проведенная им на открытом воздухе.

Наши мужички начинают спать на дворе с самого Благовещения. Несмотря на то что в эту пору утренники холоднее зимних, семейства покидают избу и перебираются в сени или клетки; даже грудные младенцы, и те (поневоле, впрочем) следуют за своими родителями. На печке остаются одни хворые старики и старухи. Переселение на дачу происходит, как видите, раненько: все, и малые и большие, корчатся от стужи под прорванными тулупишками, жмутся друг к дружке и щелкают зубами; но что прикажете делать! Таков уж исконный обычай!

Трудно предположить, однако ж, чтоб холод именно мог пробудить Глеба Савинова. Вот жар разве, ну, то совсем другое дело! Жар, как сам он говаривал, частенько донимал его; холод же не производил на Глеба ни малейшего действия.

«С начатия-то тебя как словно маненько и пощипывает; а там ничего, нуждушки мало! С холоду-то, знамо, человек крепнет», – утверждал всегда старый рыбак. И что могла, в самом деле, значить стужа для человека, который в глубокую осень, в то время как Ока начала уже покрываться салом и стынуть, проводил несколько часов в воде по пояс!

В настоящее утро лицо и одежда рыбака достаточно подтверждали всегдашние слова его: несмотря на довольно сильный мороз, он был в одной рубашке; в наружности его трудно было сыскать малейший признак принуждения или того недовольного, ворчливого выражения, какое является обыкновенно, когда недоспишь против воли. Видно было, что пробуждение его совершилось под влиянием самых приятных, счастливых мыслей. Как только приподнялся он с саней, стоявших под навесом и служивших ему ложем, первым делом его было взглянуть на небо.

Заря только что занималась, слегка зарумянивая край неба; темные навесы, обступившие со всех сторон Глеба, позволяли ему различить бледный серп месяца, клонившийся к западу, и последние звезды, которые пропадали одна за другою, как бы задуваемые едва заметным ветерком – предшественником рассвета. Торжественно-тихо начиналось утро; все обещало такой же красный, солнечный день, как был накануне.

Простояв несколько минут на одном месте и оставшись, по-видимому, очень доволен своими наблюдениями, рыбак подошел к крылечку, глядевшему на двор. Тут, под небольшим соломенным навесом, державшимся помощью двух кривых столбиков, висел старый глиняный горшок с четырьмя горлышками; тут же, на косяке, висело полотенце, обращенное морозом в какую-то корку, сделавшуюся неспособною ни для какого употребления.

Глеб разбил пальцем ледяные иглы, покрывавшие дно горшка, пригнул горшок к ладони, плеснул водицей на лицо, помял в руках кончик полотенца, принял наклонное вперед положение и принялся тереть без того уже покрасневшие нос и щеки. После этой церемонии, не имевшей, по-видимому, никакой определенной цели, но совершенной, вероятно, по привычке или из угождения давно принятому обыкновению, рыбак повернулся к востоку и начал молиться. Лицо его, за минуту веселое, мгновенно приняло выражение строгой, задумчивой сосредоточенности.

Заря между тем разгоралась. Бледная полоса света, показавшаяся на востоке, окрасилась пурпуром и обняла весь горизонт; зарево росло и разливалось по небу. В дали, покуда еще сумрачной, но постепенно проясняющейся, стали открываться леса и деревни, кой-где

задернутые волнистыми туманными полосами. Наконец и самый двор рыбака освободился от мрака. Румяный свет, проникавший сквозь щели плетня, позволял уже различать багры, кадки, старые верши и другие хозяйственные и рыбацкие принадлежности, наполнявшие темные углы. Со всем тем было все-таки очень еще рано. Тишина не прерывалась ни одним из тех звуков, какими приветствуется обыкновенно восход солнца: куры и голуби не думали подавать голоса; приютившись на окраине старой дырявой лодки, помещенной на верхних перекладах навеса, подвернув голову под тепленькое, пушистое крыло, они спали крепчайшим сном. Все спало на дворе старого рыбака; сам хозяин только бодрствовал. Он принялся за дело тотчас же после молитвы. Дел, правда, больших не было: на всем, куда только обращались глаза, отражался строжайший порядок, каждая вещь была прибрана и стояла на месте. Но хороший хозяин никогда не доволен.

Посмотрите в деревнях на хлопотливых домохозяев, которых называют «затыглыми стариками». Дни целые, с утра и до вечера, проводят они у себя на дворе. Невелики, кажется, владения, имущество также не бог весть какое! Всего один навес, клеть, соха, телега, пара кляч, коровенка да три овцы – и хлопотать, кажется, не над чем! А между тем день-деньской бродит старичок по своему двору, стучит, суетится, и руки его ни на минуту не остаются праздными. Так же точно было и с нашим рыбаком: вся разница заключалась в том, может статься, что лицо его выражало довольство и радость, не всегда свойственные другим хозяевам. И то, впрочем, сказать надо: Глеб Савинов никогда еще не имел столько причин радоваться.

Весь вечер и даже часть ночи раздумывал он о вчерашней беседе. О сыне Петре Глеб, по правде молвить, помышлял не много: он давно уже решил отправить его в «рыбацкие слободы», как уже выше сказано; до сих пор одно только упрямство мешало ему осуществить такое намерение. Все помыслы рыбака исключительно обращались на дядю Аким и его мальчика, и чем более соображал он об этом предмете, тем более приходил к счастливым выводам. По обыкновению своему, он не показал вчера только виду, но тотчас же смекнул, как выгодно оставить их у себя в доме. Недаром же весь прошлый вечер испытывал он дядю Аким, заставляя его приниматься за разные дела; недаром также оставил ночевать его. Как ни плох был дядя Аким, но все-таки легко мог таскать невод, плести сети, грести веслом. Как умом ни раскидывай, а платить за такую работу одним хлебом – дело сходное. Что Аким не станет сидеть сложа руки и даром пропускать трохи, за то ручался хозяин.

Глеб Савинович, как и все люди, достигнувшие неусыпными трудами целой жизни некоторого благосостояния, крепко стоял за добро свое. Он, например, с трудом решился бы отрезать даром, так себе, за здорово живешь, от хлеба, испеченного для собственного семейства. Долгий опыт, научивший его, как тяжело достается хлеб, постоянный, добросовестный труд, горячая привязанность к семейству, к своим – все это невольным образом развило в нем тот грубый эгоизм, который часто встречаем мы в семьянистых мужиках. Впрочем, расчеты рыбака в особенности основывались на мальчике, которого привел женин родственник. Как бы ни велико было семейство простолюдина, лишний мальчик не бремя.

«Дочь – отрезанный ломоть, лишние зубы при хлебе; возрастет, прощайся с нею, выдавай ее замуж, да еще снаряжай и приданое!»

Мальчик – иное дело: лишний столб, подпора и надежда дома, – везде пригодится. В самых многолюдных зажиточных крестьянских семьях встречаешь приемыша. Многие сметливые мужики дают даже денег бедному, обремененному семейством соседу, с тем чтобы тот отдал им на «воспитание» сынишку; они обязуются платить за приемыша подати, справляют за него все повинности. Бывают примеры, что хозяин усыновляет своего приемыша, женит его на родной дочери, передает ему весь дом и все хозяйство. Но такие примеры – исключение из общего правила. По большей части участь приемыша не представляет много утешительного. «Чужой человек!» И растет он, ничьему сердцу не близкий, никем не

обласканный; ни одно приветливое слово, ни один ласковый взгляд не осветят детских лет его... Сызмала привыкает он к грубой речи, неправому слову и всякой неправде. Проходят годы, но время не улучшает судьбы бедного горько-одинокого сироты. Продолжает он нести свой трудный, часто непосильный крест, с тем чтобы пойти за хозяйского сына в солдаты или умереть под старость бобылем без крова и хлеба.

Такая участь, конечно, не предстояла Гришке в доме рыбака. Жена Глеба была баба добрая, богобоязливая; к тому же парнишка приходился ей сродни – обстоятельство, имеющее всегда в нашем крестьянстве сильное действие на отношения людей, живущих в одной и той же избе. Сам Глеб также не был злой человек. Он был только крепковат, не любил потачки давать, любил толк во всем и дело. Что говорить, много разных соображений бродило в голове его по поводу приемыша – не без этого, но все же судьба Гришки не обещала больших горестей.

Глеб не заметил, как наступило утро, как пробудились куры и голуби и как затем малопомалу все ожило вокруг.

Но зато при первом звуке, раздавшемся в сених, он быстро поднял голову и тотчас же обратился в ту сторону. Увидев жену, которая показалась на крыльчке с коромыслом и ведрами, он пошел к ней навстречу, самодовольно ухмыляясь в бороду.

– Что рано поднялась? Куда те несет? – сказал он с обычною своею шутливостью.

– Видишь, с ведрами, за водой иду, – неохотно отвечала Анна, спускаясь по шатким ступеням крыльца.

Тетка Анна, не мешая заметить, находилась в это утро в самом неблагоприятном настроении духа. Прием, сделанный Глебом ее родственнику, и особенно объяснение его с Акимом – объяснение, отнимавшее у нее последнюю надежду пристроить как-нибудь родственника, – все это сильнейшим образом вооружало старушку против мужа. Насмешливый вид Глеба окончательно раздражил ее, и в эту минуту она готова была ведрами и коромыслом проучить сожителя. Ничего этого не случилось однако ж; она ограничилась тем только, что потупила глаза и придала лицу своему ворчливое, досадливое выражение – слабые, но в то же время единственные признаки внутреннего неудовольствия, какие могла только дозволить себе Анна в присутствии Глеба. Дело в том, что тетка Анна в продолжение двадцативосьмилетнего замужества своего не осиливала победить в себе чувства робости и страха, невольно овладевавшие ею при муже. Чувства эти разделяли, впрочем, все остальные члены семейства. Мудреного нет: Глеб был человек нрава непреклонного, твердого как камень и вдобавок еще горячего и вспыльчивого. Жена ли, дети ли – все это в глазах его не представляло большой разницы: он всех их держал в одинаковом повиновении. В эти двадцать восемь лет он или подтрунивал над детьми и женою (когда был в духе), или же всем доставалось в равной степени, когда был в сердцах. Все бежали тогда куда могли, лишь бы на глаза не попадаться. В делах семейных и хозяйственных никто не смел подавать голоса: жена не смела купить горшка без его ведома; двадцатилетние сыновья не смели отойти за версту от дому без спросу. Замечательнее всего, что при всем том старый рыбак редко поднимал шум в доме и еще реже подымал руку; по большей части он находился в веселом, шутливом расположении духа.

Ответив мужу, что шла за водою, тетка Анна хотела пройти мимо, но Глеб загородил ей дорогу.

– Вижу, за водой, – сказал он, посмеиваясь, – вижу. Ну, а сноха-то что ж? А? Лежит тем временем да проклажается, нет-нет да поохает!.. Оно что говорить: вестимо, жаль сердечную!.. Ну, жаль не жаль, а придется ей нынче самой зачерпнуть водицы... Поставь ведра, пойдем: надо с тобой слова два перемолвить.

Сказав это, рыбак направился к задним воротам, выходящим за огород. Старуха поставила ведра и не без некоторого смущения последовала за мужем.

– Вот что, – начал он, когда оба они очутились в проулке и ворота были заперты, – что ты на это скажешь: отпустить нам Петрушку али нет, не отпускать?

– Как знаешь, твоя воля, – отвечала жена, обнаруживая удивление в каждой черте добродушного лица своего.

Первый раз в жизни Глеб обращался к ней за советом; но это обстоятельство еще сильнее возбудило внутреннюю досаду старушки: она предвидела, что все это делается неспроста, что тут, верно, таится какой-нибудь лукавый замысел.

– Сдается мне, отпускать его незачем, – сказал Глеб, устремляя пытливый взгляд на жену, которая стояла понуря голову и глядела в землю, – проку никакого из этого не будет – только что вот набалуется... Ну, что ж ты стоишь? Говори!

– Что мне говорить, – возразила Анна, зная наперед: что бы она ни сказала, муж все-таки поставит на своем.

– Он, может статься, говорил тебе об этом. «Поди, мол, отца попроси!» Либо другое что сказал?

– Словечка не промолвил.

Глеб недоверчиво покосился на старуху.

– По-моему, – вымолвил он, произнося каждое слово с какою-то особенною выдержкою, – пусть лучше дома живет... Ась?

Глеб знал, что мать и дети ничего не таят друг от дружки: выпытывая мнение жены – мнение, до которого ему не было никакой нужды, он думал найти в нем прямой отголосок мыслей Петра; но, не успев в этом, он тотчас же перешел к другому предмету.

– Не видала ли ты нынче Акима? – спросил он неожиданно.

– Нет, не видала.

– Должно быть, спит еще. Ну, пушай его, пушай понежится; встанет, смотри, покорми его.

Старушка подняла голову; но лицо ее, на минуту оживившееся, снова приняло недовольное выражение, когда муж прибавил:

– А там пушай идет, куда путь лежит... Вишь, что забрал в голову: возьми его в работники!

– Не знаю, с чего так не полюбился, – пробормотала Анна, обращая, по-видимому, все свое внимание на щепки, валявшиеся подле плетня.

– Пес ли в нем! – продолжал Глеб, не отрывая от жены зоркого взгляда.

– Да что ты, в самом-то деле, глупую, что ли, нашел какую? – нетерпеливо сказала она. – Вечор сам говорил: не чаял я в нем такого проку! Вчера всем был хорош, а ноне никуда не годится!.. Что ты, в самом-то деле, вертишь меня... Что я тебе! – заключила она, окончательно выходя из терпения.

Глеб не спускал с нее глаз и только посмеивался в бороду.

– Так как же, стало, по-твоему, надо взять его? – сказал он.

Тетушка Анна замялась.

– Что ж, не худой он человек какой, – проговорила она смягченным голосом, – ни табашник какой, ни пьяница.

– Главное дело, потому отказать ему как словно не приходится: сродни он нам – вот что! – заметил муж, лукаво прищуриваясь.

– Вестимо, не чужак! – поспешила присовокупить старушка.

– Так-то, так! Я и сам об этом думаю: родня немалая; когда у моей бабки кокошник горел, его дедушка пришел да руки погрел... Эх ты, сердечная! – прибавил, смеясь, рыбак. – Сватьев не оберешься, свояков не огребешься – мало ли на свете всякой шушеры! Всех их в дом пушать – жирно будет!

В ответ на это тетушка Анна только плюнула.

– Ну, так как же, по-твоему, стало, и мальчишку надо взять, а? – продолжал допытывать Глеб.

– Да что я, в самом деле, за дура тебе досталась? – воскликнула Анна. – Что ты умом-то раскидываешь, словно перед махонькой!

– Куды ты? Полно, погоди, постой, – сказал рыбак, удерживая за руку жену, которая бросилась к воротам, – постой! Ну, старуха, – промолвил он, – вижу: хочется тебе, добре хочется пристроить к месту своего сродственника!

– Ничего мне не надоть! Ничего не хочу! Тьфу! – возразила она, порываясь к воротам.

– Полно же, ну! – вымолвил муж, переменяв вдруг голос. – Посмеялся и шабаш! Так уж и быть: будь по-твоему! Пушай оба остаются! Мотри только, не говори об этом до поры до времени... Слышь?

Старуха взглянула на мужа и тотчас же перестала волноваться: видно было, что с последними словами Глеба у ней разошлось сердце.

– Смотри же, ни полсловечка; смекай да послушивай, а лишнего не болтай... Узнаю, худо будет!.. Эге-ге! – промолвил он, делая несколько шагов к ближнему углу избы, из-за которого сверкнули вдруг первые лучи солнца. – Вот уж и солнышко! Что ж они, в самом деле, долго проклажаются? Ступай, буди их. А я пойду покуда до берега: на лодки погляжу... Что ж ты стала? – спросил Глеб, видя, что жена не трогалась с места и переминалась с ноги на ногу.

– Ну, что ты в самом деле умом-то раскидываешь? – промолвила она полуворчливо-полуласково. – Ты говори толком... Ну, что, в самом деле...

Глеб раскрыл удивленные глаза.

– Вестимо, толком говори, – продолжала жена, – слушаешь, слушаешь, в толк не возьмешь... вертит тебя только знает!.. Ты толком скажи: возьмешь, что ли, их в дом-от?

– Эх ее!.. Фу ты, дура баба!.. Чего ж тебе еще? Сказал возьму, стало тому и быть... А я думал, и невесть что ей втемяшилось... Ступай...

На этот раз тетюшка Анна не заставила себе повторить и, отворив ворота, поспешно заковыляла в избу.

В сенях она наткнулась на дядю Акима и его мальчика. Заслышав шаги, дядя Аким поспешил скорчить лицо и принять жалкую, униженную позу; при виде родственницы он, однако ж, ободрился, кивнул головою по направлению к выходной двери и вопросительно приподнял общипанные свои брови.

В ответ на это старушка заморгала глазами, погрозила пальцем и выглянула на двор; после чего она подошла к родственнику и сказала шепотом:

– Остаешься, Акимушка!

– Что ты, матушка?

– Ей-богу, право! Сам сказал; сначала-то уж он и так и сяк, путал, путал... Сам знаешь он какой: и в толк не возьмешь, так тебя и дурит; а опосля сам сказал: оставлю его, говорит, пускай живет!

Во время этого объяснения лукавые глаза Гришки быстро перебегали от отца к тетке Анне; с последними словами старушки испуг изобразился в каждой черте плутовского лица; он ухватил дядю Акима за рукав и принялся дергать его изо всей мочи.

– Смотри только, Акимушка, – продолжала между тем старушка, – смотри, в работе-то не плошай, касатик.

– Буду, матушка, буду! Я ли когда на печи лежал, я ли...

– Ну, то-то, родимый, то-то; с тем, говорит, и беру, коли работать станет!.. Сам знаешь, человек он крепкий: что сказал, от того не отступится.

– Знаю, матушка, все знаю... Ах, ты, касатушка ты наша!.. Родная ты наша! Как нам за тебя бога молить?.. Ах!.. Что ты, Гришутка? Что на рукаве-то виснешь... Вишь его, озорник! Оставь, говорят! – заключил Аким, поворачиваясь неожиданно к парнишке.

– Пойдем! Пойдем! Не хочу я здесь оставаться! – заговорил мальчик, принимаясь тереть еще пуще рукав Акима и обнаруживая при этом столько же азарта, сколько страха.

– Куды ты?.. Ах, ты, безмятежный ты этакой!.. Пусти!

– Не хочу! Не хочу! Пойдем! – кричал мальчик.

– Полно, батюшка, полно тебе, – сказала Анна, стараясь обласкать Гришку, – а я лепешечки дам... Подь-кась в избу: лепешечки дам, соколик...

– Не хочу! Я хочу домой!.. Пойдем!.. Пойдем! – кричал Гришка, цепляясь за ворот Акима, пригибая его к себе и топая ногами.

В самую эту минуту неподалеку, почти у самого крыльца, послышались шаги Глеба Савиныча.

Старуха опрометью кинулась в избу.

– А! Сват Аким, здорово! – сказал рыбак, появляясь в сенях. – Что вы тут делаете?.. Чего это он у тебя, слышу я, не хочет, а? – промолвил он, взглядывая на мальчика, который остоленел и побледнел как известь.

– Так, батюшка... Глеб Савиныч... глупенек... вестимо... – пробормотал Аким, разводя руками.

– Да чего ж он не хочет-то? А?.. Иду, слышу: не хочу да не хочу!.. Чего не хочу? А?

– Вот, кормилец, – мешаясь, подхватил Аким, – умыться не хочет... воды боится; добре студена, знать!.. Умойся, говорю... а он и того...

– Ну-ткась, сват, возьми-ка зачерпни поди водицы... Вон в углу стоит; давай сюда: мы его умоем, когда так! – проговорил рыбак, ставя перед собою Гришку и наклоня ему вперед голову. – Лей! – заключил он, протягивая ладонь.

– Бррр... – пробормотал Гришка, мотая головою.

– Лей еще! – повторил Глеб.

Дядя Аким, лицо которого корчилося и ежилось самым жалобным образом, повиновался.

– Бр... р-р... бр-р... батюшки! – кричал Гришка.

– Ничего, врешь, не пуще холодна, лей еще!

– Бр-р...

– Ну, на здоровье; утрись поди! – произнес Глеб, выпуская Гришку, который бросился в угол, как кошка, и жалобно завопил. – А то не хочу да не хочу!.. До колен не дорос, а туда же: не хочу!.. Ну, сват, пора, я чай, и закусить: не евши легко, а поевши-то все как-то лучше. Пойдем, – довершил рыбак, отворяя дверь избы.

Во время завтрака веселье рыбака не прерывалось ни на минуту. Со всем тем он не коснулся ни одного пункта, имевшего какое-нибудь отношение к разговору с хозяйкой; ни взглядом, ни словом не выдал он своих намерений. С окончанием трапезы, как только Петр и Василий покинули избу, а жена Петра и тетка Анна, взяв вальки и коромысла, отправились на реку, Глеб обратился к Акиму:

– Вот, сватышка, что я скажу тебе, – произнес он с видом простодушия. – Останься, пожалуй, у нас еще день, коли спешить некуда. Тем временем нам в чем-нибудь подсобишь... Так, что ли? Ну, когда так – ладно! Бери топор, пойдем со мною.

Аким взял топор, подошел к двери и молодецкато нахлобучил шапку. Глеб насмешливо покосился на него, повернулся к Гришке и Ване, которые сидели по разным углам, и погрозил пальцем:

– Смотри, ребяташки, не баловать без нас! Кто забалует, быть тому без вихра на макушке!

VI Гришутка

Никогда еще во всю свою долгую, но бесполезную жизнь дядя Аким не трудился так много, как в это утро, когда, обнадеженный словами Анны, остался гостить в доме рыбака. Наставления старушки были постоянно перед его глазами. Опасаясь, с одной стороны, не угодить в чем-нибудь Глебу, исполненный, с другой стороны, сильнейшего желания показать всем и каждому, что он отличнейший, примерный работник – «мастак работник», Аким не щадил рук и решительно лез из кожи. Подобно ручью, который в продолжение многих верст лениво, едва заметно пресмыкался в густой и болотистой траве и который, выбежав на крутизну, делится вдруг на бесчисленное множество быстрых, журчащих потоков, дядя Аким заходил во все стороны и сделался необыкновенно деятелен: он таскал верши, собирал камыш для топлива, тесал колья, расчищал снег вокруг лодок – словом, поспевал всюду и ни на минуту не оставался без дела. Иногда, уже невмочь одолеваемый одышкой и поперхотой, он останавливался, чтобы перевести дух, но встречал всякий раз пристальный взгляд Глеба и принимался суетиться пуще прежнего. Уж зато и уходился же дядя Аким! Пот катил с него крупными горошинами, ноги подгибались как мочалы, плечи ломило, как словно их вывихнули. Такое усердие, конечно, не ускользало от внимания Глеба; но он оставался, по-видимому, совершенно к нему равнодушным. Хозяева вообще не щедры на похвалы: «Похвала – та же потачка, – рассуждает хозяин, извлекая, вероятно, это правило из наблюдений собственной природы, – зазнается еще, чего доброго! Возьмет „форс“ на себя!..» Такие мысли свойственны хозяевам, когда дело идет о работнике и труженике. Русский мужичок в деле практической хозяйственной сметливости никому не уступит. Небрежный, беспечный и равнодушный ко всему, что не имеет к нему прямого, личного отношения, он превращается у себя дома в ломовую, неутомимую лошадь и становится столько же деятелен, сколько взыскателен. Нет народа, который бы так крепко отстаивал свою собственность и так сильно соблюдал свои материальные выгоды, как русский народ. «Ничего, авось, небось и как-нибудь», так часто произносимые русским мужиком, повторяются им точно так же, если хотите, когда он у себя дома; в последнем случае, однако ж, слова эти выражают, поверьте, скорее торопливость, желание сработать больше, сбыть выгоднее, чем беспечность или нерадение. Мужичок производит «кое-как» только для мира, для общества; он знает, что базар все ест: ест и говядину, коли есть говядина, ест и что ни попало, коли нет мяса. Но зато войдите-ка во двор семьянистого, делового, настоящего хозяина, взгляните-ка на работу, которую предназначает он для себя собственно: тут уж на всем лежит печать прочности и долговечности, соединенные с расчетом строжайшей, мудрой экономии; здесь каждым ударом топора управляло уже, по-видимому, сознание, что требуется сделать дело хорошо, а не кое-как! У семьянистого хозяина даром корка не пропадет. Бросил зерно в землю – давай сам-сём; счетом взял – отдавай с лихвою; взял лычко – отдай ремешок; на сколько съел, на столько сработай. Труды батрака соотнобщаются с количеством поглощаемой им каши и числом копеек, следующих ему в жалованье, и потому редкий на свете хозяин остается вполне доволен батраком своим и редкий батрак остается доволен своим хозяином. Впрочем, такие свойства русского мужика издали только бросаются в глаза и кажутся достойными порицания; на самом деле они отличаются от свойств других людей только формой, которая у простолюдина немного поглубже – поглубже потому, может статься, что простодушнее...

Но перейдем к Акиму, который сидит теперь между Глебом и старшими его сыновьями и конопатит лодку.

Солнце до половины уже обогнуло небо, и работа приближалась к концу, когда к работающим подошел младший сынишка Глеба.

Заплаканное лицо его, встрепанные волосы, а рубашонка, прорванная в двух-трех местах и запачканная грязью, обратили на него тотчас же внимание присутствующих.

– Что ты, Ванюшка? – спросили в один голос отец и Василий.

– Должно быть, с моим Гришуткой... Вестимо, ребятеночки еще: что с них взять! – обязательно предупредил Аким, догадавшийся с первого взгляда, что тут, конечно, не обошлось без Гришутки.

– Хорошее баловство, нечего сказать! – возразил Глеб, оглядывая сынишку далеко, однако ж, не строгими глазами. – Вишь, рубаху-то как отделал! Мать не нашьется, не настирается, а вам, пострелам, и нуждушки нет. И весь-то ты покуда одной заплаты не стоишь... Ну, на этот раз сошло, а побалуй так-то еще у меня, и ты и Гришка, обоим не миновать дубовой каши, да и пирогов с березовым маслом отведаете... Смотри, помни... Вишь, вечер впервые только встретились, а сегодня за потасовку!

– Да я его не трогал, – сказал мальчик, утирая рукавом слезы, которые текли по его полным, румяным щекам.

– Стало, он тебя поколотил?... Ну, полно, не плачь: дай нам прийти домой, мы ему шею-то сами намнем.

– Он меня не колотил, – поспешно сказал мальчик.

– Как же так?

Мальчик замялся и пробормотал несвязно:

– Он меня... все... вот так-то вот... все... вот... все бьет!

– Должно быть, как-нибудь невзначай, – поспешил присовокупить дядя Аким.

– Ну, хорошо, – возразил Глеб, – он тебя поколотил; ну, а ты что?

– Я ничего, – отвечал простодушно Ваня.

– И сдачи не дал?

– Нет.

Глеб и за ним все присутствующие засмеялись.

– За что же он прибил тебя? – спросил отец, очевидно, с тою целью, чтобы позабавиться рассказом своего любимого детища.

– А я и сам не знаю, за что, – отвечал со вздохом Ваня. – Я на дворе играл, а он стоял на крыльце; ну, я ему говорю: «Давай, говорю, играть»; а он как пхнет меня: «Я-те лукну!» – говорит, такой серчалый!.. Потом он опять говорит: «Ступай, говорит, тебя тятка кличет». Я поглядел в ворота: вижу, ты меня не кличешь, и опять стал играть; а он опять: «Тебя, говорит, тятка кличет; ступай!» Я не пошел... что мне!.. Ну, а он тут и зачал меня бить... Я и пошел...

– Так, стало, сдачи-то ты и не дал?

– Нет.

– Ну, плохой же ты парнюха после этого! – смеясь, сказал отец. – Авось разве опосля как-нибудь посчитаетесь, а теперь пока он над тобой потешился... Эх ты, мозгляк, мозгляк, право мозгляк!.. Ну, что я стану с тобой делать? Слышь, сдачи не дал!.. Ну, где тебе быть с рыбаками! Ступай-ка лучше к бабам... вот они... ступай-кась туда... Они же, кстати, тебя и умоют! – заключил старый рыбак, подтрунивая над сыном и указывая ему рукою на отдаленную грудку камней, из-за которой раздавался дружный стук вальков и время от времени показывались головы Анны и снохи ее.

Мальчик стыдливо потупил голову и молча поплелся к матери.

– А должно быть, шустер твой мальчишка-то, сват Аким, не тебе чета! – начал Глеб, снова принимаясь за работу. – Вишь, как отделал моего парня-то... Да и лукав же, видно, даром от земли не видок: «Поди, говорит, тятка зовет!» Смотри, не напроказил бы там чего.

– И-и-и, батюшка, куды! Я чай, он теперь со страху-то забился в уголок либо в лукошко и смигнуть боится. Ведь он это так только... знамо, ребятеночки!.. Повздорили за какое слово, да давай таскать... А то и мой смирен, куда те смирен! – отвечал дядя Аким, стараясь, особенно в эту минуту, заслужить одобрение рыбака за свое усердие, но со всем тем не переставая бросать беспокойные взгляды в ту сторону, где находился Гришутка.

Ванюша между тем, обмытый и обласканный матерью, успел уже забыть свое горе, и вскоре звонкий, веселый голосок его смешался со стуком вальков, которому, в свою очередь, с другого конца площадки отвечало постукивание четырех молотков, приводивших к концу законопачивание лодки.

Солнце приближалось уже к полудню.

– Шабаш, ребята! – весело сказал Глеб, проводя ладонью по краю лодки. – Теперь не грех нам отдохнуть и пообедать. Ну-ткась, пока я закричу бабам, чтоб обед собирали, пройдите-ка еще разок вон тот борт... Ну, живо! Дружней! Бог труды любит! – заключил он, поворачиваясь к жене и посылая ее в избу. – Ну, ребята, что тут считаться! – подхватил рыбак, когда его хозяйка, сноха и Ваня пошли к воротам. – Давайте-ка и я вам подсоблю... Молодца, сватушка Аким! Так! Сажай ее, паклю-то, сажай! Что ее жалеть!.. Еще, еще!

И четыре молотка, как бы подстрекаемые веселым смехом старого рыбака, застучали еще пуще прежнего.

Внезапно с середины двора раздался пронзительный, отчаянный крик. В ту же секунду из растворенных ворот выбежали Анна, жена Петра и Ваня.

– Пожар! Пожар! Горим! – кричали они, отчаянно размахивая руками.

Молотки выпали из рук четырех работников, пораженных ужасом. Глеб быстрее юноши поднялся на ноги; он был бледен как полотно.

– С нами крестная сила! – пробормотал он, крестясь дрожащею рукой, между тем как сыновья его и Аким бежали к избе.

Секунду спустя он бросился за ними.

На дворе происходила страшная суматоха. Жена Петра бегала как полоумная из угла в угол без всякой видимой цели; старуха Анна лежала распростертая посреде двора и, заломив руки за голову, рыдала приговаривая:

– О-ох, вы, мои батюшки!.. Остались-то мы, горькие... без крова, без пристанища... И куда-то мы, сиротинушки, куда приклоним головы!..

Нигде, однако ж, не было заметно признаков пожара.

– Где горит? – закричал Петр, вбежавший прежде всех на двор.

Петр, казалось, вырос на целый аршин; куда девался сонливый, недовольный вид его! Черные глаза сверкали; каждая черта дышала суровою энергиєю.

– Где горит? – повторил он грозным жестом.

– В избе!

– В избе, в избе! – подхватил Ваня.

– Батюшка! – крикнул Петр, обращаясь к отцу, который вбегал в эту минуту на двор, бледный и смущенный. – Ступай к завалинке и вышибай окна; я с братом в избу!

Сказав это, он бросился на крылечко и исчез в дыме, который повалил клубами из сеничек, как только отворилась дверь.

Благодаря поспешно выбитым окнам и отворенной двери дым очистился и позволил Петру осмотреться вокруг. Пламени нигде не было видно. Посреди серого, едкого смрада, наполнявшего избу, Петр явственно различил густую беловатую струю дыма, выходившую из-под лавки, прислоненной к окнам. Он бросился к тому месту, нащупал руками лукошко с тлеющими щепками и паклею, вытащил его на пол и затоптал ногами. В избе сделалось тотчас же светлее. Осмотрев затем место и убедившись, что не предстояло уже никакой опасности, Петр спокойно, как ни в чем не бывало, вернулся на двор.

– Полно, матушка, – сказал он, обратившись к старухе, – никакого нет пожара; полно тебе выть! Сама посмотри.

– Батюшки! Царица небесная! – воскликнула старушка, падая на колени, и боязливо, все еще как бы глазам не веря, принялась озираться во все стороны.

– Ступай, сама посмотри, – повторил Петр.

Затем он указал ей на крыльцо, мигнул жене и вышел к отцу, который стоял как вкопанный подле дяди Акима.

– Ничего, батюшка, – вымолвил Петр, – сошло; а только... только нас подожгли, – заключил он мрачно, насунив брови.

Он рассказал ему обстоятельно причину чуть было не случившегося несчастья.

– Где Гришка? – вскричал Глеб, как бы озаренный внезапной мыслью. – Где Гришка? – повторил он, неожиданно обратившись к дяде Акиму и грозно подымая кулаки.

Аким раскрыл рот, хотел что-то сказать, затрясся всем телом и бессмысленно развел руками.

Петр и Василий бросились отыскивать мальчика.

Минут десять спустя оба вернулись к отцу.

Гришки нигде не было.

– Так и есть: он! – сказал рыбак.

– Батюшка! – отчаянно вскрикнул дядя Аким и повалился в ноги.

– Ну вот еще, будешь нам рассказывать! Он, вестимо он! Ах, он... Ребята, давай мне его сюда, давай сюда!.. Ступай, догоняй; всего одна дорога; да живо... испуган зверь, далеко бежит... Ну!

Дядя Аким быстро вскочил на ноги и кинулся уже вперед; но рыбак удержал его, сказав:

– Куда тебе! Стой здесь: ведь Васька попрытчее твоего сбегает.

Как ни ошеломлен был Глеб, хотя страх его прошел вместе с опасностью, он тотчас же смекнул, что Аким, запуганный случившимся, легко мог улизнуть вместе с мальчиком; а это, как известно, не входило в состав его соображений: мальчику можно задать таску и раз навсегда отучить его баловать, – выпускать его из рук все-таки не след. Простой народ, не только русский, но вообще все возможные народы, вероятно по недостаточному развитию нравственного чувства и совершенному отсутствию нравственного мнения, снисходительно смотрят на проступки ближнего, к какому бы роду ни принадлежали эти проступки. После первого взрыва отношения Глеба к Акиму и его мальчику ни на волос не изменились; мужики что дети: страх, ненависть, примирение, дружба – все это переходит необыкновенно быстро и непосредственно следует одно за другим.

«Парнишка балуется, чуть было не набедовал! Надо прожужстерить парнишку», – вот все, о чем помышлял рыбак.

Василий, побуждаемый частью любопытством, частью перспективой зрелища, которое, по всей вероятности, доставит наказание Гришки, – перспективой, доставляющей всегда большое удовольствие всякому простолюдину, даже самому мягкосердечному, полетел без оглядки за беглецом.

Дядя Аким опустил на завалинку, закрыл лицо руками и безнадежно качал головою. Он и сам уже не рад был (куды какая радость!), что приплелся в дом рыбака. В эту минуту он нимало не сокрушался о поступке сына: горе все в том, что вот сейчас, того и смотри, поймут парнишку, приведут и накажут. Дядя Аким, выбившийся из сил, готовый, как сам он говорил, уходить себя в гроб, чтоб только Глеб Савинич дал ему хлеб и пристанище, а мальчику ремесло, рад был теперь отказаться от всего, с тем только, чтоб не трогали Гришутку; если б у Акима достало смелости, он, верно, утек бы за мальчиком. При малейшем звуке он поднимал голову, и слезливые глазки его с беспокойством устремлялись на тропинку, изгибавшуюся к вершине ската. Впрочем, не он один убивался. Тетка Анна и сын ее Ванюша

принимали также немалое участие в судьбе, ожидавшей Гришку. Старушка, у которой уже совсем прошел страх и отлегло сердце, поминутно отрывалась от дела и выбегала за ворота.

Ваня, прижавшись за плетнем, дрожа от страха и едва сдерживая слезы, не отрывал глаз от тропинки.

Наконец на вершине ската показались две точки; немного погодя можно было уже явственно различить Василия, который с усилием тащил Гришку. В то же время на дворе раздался грубый голос Петра:

– Поймали, батюшка; ведут!

Глеб, сопровождаемый всем своим семейством, кроме Ванюши, вышел к завалинке.

В чертах рыбака не отражалось ни смущения, ни суровости. Чувство радости быстро сменяет отчаяние, когда минует горе, и тем сильнее овладевает оно душою и сердцем, чем сильнее была опасность. Глеб Савинов был даже веселее обыкновенного.

Он с усмешкою посмотрел на Акима, повернулся к горе и, приложив ладони к губам, в виде трубы, закричал:

– Тащи его сюда, Васютка, тащи скорей! Так, так! Держи крепче!.. Ну уж погоди, брат, я ж те дам баню! – заключил он, выразительно изгибая густые свои брови.

– Батюшка, Глеб Савиныч, помилуй! – сказал Аким растерянным голосом.

– Помиловать? Ну, нет, сват; жди, пока рак свистнет!.. Миловать не приходится. Я потачки не дам... Отжустерить-таки надо на порядках. Знал бы, по крайности, что баловать не дело делать!

– Отец родной... не бей его... не бей, кормилец!.. Ты только пострадай, только... Он и с эваго перестанет...

– Полно, батюшка. Ну что ты, в самом-то деле! Он и так бояться станет, – сказала, в свою очередь, Анна.

– И ты туда же! Ну, видно, и в твоей голове толк есть! – отозвался Глеб.

– Нет, матушка, не дело говоришь, – перебил Петр, лицо которого, как только миновала опасность, сделалось по-прежнему мрачным и недовольным, – этак, пожалуй, невесть что в башку заберет! Пуцай его страха отведаст. Небось не убьют.

В эту минуту из-за угла избы показался Василий, тащивший Гришку.

На мальчике лица не было. Открытая грудь его тяжело дышала; ноги подламывались; его черные, дико блуждавшие глаза, всклоченные волосы, плотно стиснутые зубы придавали ему что-то злобное, неукротимо-свиное. Он был похож на дикую кошку, которую только что поймали и посадили в клетку.

– Ага, мошенник, попался! Давай-ка его сюда! – закричал Глеб, у которого при виде мальчика невольно почему-то затряслись губы. – Пойдем-ка, я тебя проучу, как щепы подкладывать да дома поджигать... Врешь, не увернешься... Ребята, подсобите стащить его к задним воротам, – заключил он, хватая мальчика за шиворот и приподымая его на воздух.

– Батюшка, помилуй! – отчаянно закричал дядя Аким, удерживая рыбака.

– Взмилуйся, Глеб Савиныч! – завопила Анна.

– Тятка! – закричал неожиданно Ваня, вырываясь из своей засады, бросаясь к отцу и повиснув на руке его. – Тятка, оставь его!.. Пусти! Пусти!.. – продолжал он, обливаясь слезами и стараясь оторвать Гришку.

– Прочь! – сурово сказал отец. – Прочь!

И, оттолкнув от себя жену и сына, вышел к огороду.

Анна, дядя Аким и Ванюша бросились к воротам; но их снаружи придерживали Петр и Василий.

– Батюшка, Глеб Савиныч, побойся бога! – кричала старушка.

– Батюшка, взмилуйся! – кричал Аким, упав на колени.

– Тятка! Тятка! – голосил Ваня.

Но все эти крики покрылись скоро голосом Глеба и жалобными визгами Гришки. Наконец ворота отворились, и Глеб показался с сыновьями.

– Полно вам, глупые! О чем орете? Добру учат! – сказал он, проводя ладонью по высокому лбу, который снова начал проясняться. – Небось не умрет, будет только поумнее. Кабы на горох не мороз, он бы через тын перерос!.. Ну, будет вам; пойдемте обедать.

Дядя Аким хотел было юркнуть за ворота, но, встретив взгляд рыбака, не посмел и поплелся за всеми в избу.

Во все время обеда Аким не промолвил слова, хотя сидел так же беспокойно, как будто его самого высекли. Как только окончилась трапеза, он улучил свободную минуту и побежал к огороду. Увидев Гришку, который стоял, прислонившись к углу, старик боязливо оглянулся на стороны и подбежал к нему, отчаянно замотав головою.

– Безмятежный ты этакой! Что ты наделал! Ах ты, разбойник такой!.. Мало тебе, окаянному! Мало! – жалобно заговорил Аким, грозно подымая левую руку, между тем как правая рука его спешила вытащить из-за пазухи кусок лепешки, захваченный украдкой во время обеда.

Но тетка Анна успела уже предупредить Акима: в руках мальчика находилась целая лепешка и вдобавок еще горбушка пирога.

Это обстоятельство мгновенно, как ножом, отрезало беспокойство старика. Всю остальную часть дня работал он так же усердно, как утром и накануне. О случившемся не было и помину. Выходка Гришки, как уже сказано, нимало не изменила намерений старого рыбака; и хотя он ни словом, ни взглядом не обнадеживал Акима, тем не менее, однако ж, продолжал оставлять его каждое утро у себя в доме.

Недели полторы спустя после Благовещения Петр отправился в «рыбацкие слободы». Все сомнения исчезли при этом в душе Акима, который с той же минуты поздравил себя батраком рыбака Глеба Савинова.

К сожалению, недолго попользовался дядя Аким новым своим положением.

VII

Мастак-работник

Одного месяца не прошло с тех пор, как дядя Аким поселился у Глеба, и уже над кровлей рыбака воздвиглась скворечница. Мы будем говорить беспристрастно и тут же скажем, что скворечница дяди Акима должна была по-настоящему служить образцом всем возможным постройкам такого рода. Шутки в сторону: скворечница была действительно замечательна; ее островерхая крышечка, круглое окошечко, крылечко и даже пучок прутьев, живописно прикрепленный сбоку, невольно привлекали взгляды, показывая вместе с тем в строителе величайшего знатока и мастера своего дела. Конечно, обошлось не без хлопот; потребовались даже два воскресенья. Первый день проведен был на дворе и весь ушел на распилку и сколачиванье дощечек; второй день исключительно проведен был Акимом на крыше. Приняв в соображение усердие Акима, можно было подумать, что он сохранил в душе своей неременную уверенность превратиться на днях в скворца и снаряжал скворечницу для себя собственно. Труд Акима, как и следовало ожидать, не возбуждал большого сочувствия; появление скворечницы встречено было грубыми насмешками. Глеб и сын его Василий не переставали трунить над Акимом. Но таков уже удел всех великих произведений при их зародыше! Судите сами, если Глеб и его сын были правы.

Наступило именно то время весны, когда с теплых стран возвращались птицы; жаворонки неподвижно уже стояли в небе и звонко заливались над проталинками; ласточки и белые рыболовы, или «мартышки», как их преимущественно называют на Оке, сновали взад и вперед над рекою, которая только что вступила в берега свои после недельного разлива; скворцы летали целыми тучами; грачи также показались. Можно ли было после этого обойтись без скворечницы? К тому же дядя Аким ясно, кажется, объяснил Глебу и Василию, что трудился над скворечницей единственно с тем, чтобы потешить ребятишек; но ему как словно не давали веры и все-таки продолжали потешаться. К счастью еще, дядя Аким не обращал (так казалось, по крайней мере) большого внимания на такие насмешки: гордый сознанием своих сил, он продолжал трудиться на поприще пользы и с каждым днем сильнее и сильнее обозначал свое присутствие в доме рыбака. Вскоре весь дом и вся окрестность наполнились звуком тех дудочек, которые так искусно умел он делать. Писк и трескотня немолчно зазвучали в ушах Глеба Савинова. Куда бы еще ни шло, если б потешались только Гришка и Ванюшка: легко было отбить у них охоту к музыке; к тому же и сами они умолкали, завидя еще издали старого рыбака. Но горе в том, что дети Петра были точно так же снабжены дудками, и Глеб, не имея духу отнять у малолетних потеху, поневоле должен был выслушивать несносный визг, наполнявший избу. Глеб не обнаружил, однако ж, своего неудовольствия Акиму: все ограничилось, по обыкновению, двумя-тремя прибаутками и смехом; то же самое было в отношении к другим, более или менее полезным выдумкам работника. С некоторых пор в одежде дяди Акима стали показываться заметные улучшения: на шапке его, не заслуживавшей, впрочем, такого имени, потому что ее составляли две три заплаты, живьем прихваченные белыми нитками, появился вдруг верх из синего сукна; у Гришки оказалась новая рубашка, и, что всего страннее, у рубашки были ластовицы, очевидно выкроенные из набивного ситца, купленного год тому назад Глебом на фартук жене; кроме того, он не раз заставлял мальчика с куском лепешки в руках, тогда как в этот день в доме о лепешках и помину не было. Встречаясь с женою, старый рыбак посмеивался только в бороду; в остальном он и виду не показывал. Тайна такого снисхождения заключалась в том, что рыбак убеждался с каждым днем, как хорошо сделал, взяв к себе приемыша. Мальчик был, правда, озорлив, но обнаруживал необыкновенную сметливость, силу и проворство, обещавшие со временем дюжего, ловкого к работе парня. Что ж касается до Акима,

Глеб Савинович и прежде еще не видел в нем проку; время показало, что дядя Аким был годен делать одни скворечницы. Странно как-то выходило всегда, что труды его ровно ни к чему не служили. Иной раз целый день хлопочет подле какого-нибудь дела, суетится до того, что пот валит с него градом, а как придет домой, так и скосится и грохнет на лавку, ног под собой не слышит; но сколько Глеб или сын его Василий ни умудрялись, сколько ни старались высмотреть, над чем бы мог так упорно трудиться работник, дела все-таки никакого не находили.

– Эх ты, сватьяшка Аким, сватьяшка Аким, высоко поднял, брат, да опустил низко; вожжи-то в руках у тебя, в руках вожжи, да жаль, воз-то под горою!.. Эх, пустой выходишь ты человек, братец ты мой! – скажет Глеб Савинов, махнет рукой да и отойдет прочь.

Со всем тем Аким продолжал так же усердно трудиться, как в первые дни пребывания своего в доме рыбака: прозвище «пустого человека», очевидно, было ему не по нутру.

Не знаю, прискучило ли наконец дяде Акиму слушать каждый день одно и то же, или уж так духом упал он, что ли, но только мало-помалу стали замечать в нем меньше усердия. Вместе с тем и нрав его как-то изменялся. Бывало, шутиливый такой, грохочет с утра до вечера, с ребятишками возится или выйдет за ворота скворцом позабавиться: «Эх, самец-то у меня хорош, скажет, вот разве самка бы не опростоволосилась: не сидит, шут ее знает, на яйцах! Нет, не дожидаться, знать, птенцов! Так, знать, ни во что пошли труды наши!» – и частенько выкинет при этом такое коленце, что все держатся только за бока и чуть не мрут со смеху. Ну, а теперь совсем не то: ходит – набок голову клонит, как словно кто обидел его или замысел какой на душе имеет; слова не вызовешь: все опостыло ему, опостыла даже и самая скворечница. Несмотря на то что сбылись задушевные мечты его – самка не только не опростоволосилась, но вывела даже множество птенцов, которые поминутно высовывали из окошечка желтые носочки, – дядя Аким не думал радоваться.

– Что ты, мой батюшка? – спрашивала иногда тетка Анна, единственное существо из всего семейства рыбака, с которым дядя Аким сохранял прежние отношения. – Что невесел ходишь? Уж не хвороба ли какая, помилуй бог? Недужится, може статься... скажи, родимый!

– Нет, матушка, – отвечал обыкновенно дядя Аким глубоко огорченным тоном, – господь терпит пока грехам – силы не отымает. Одним разве наказал меня, грешного...

– Да чем же, батюшка?

– А вот чем, матушка, – отвечал Аким с горькою усмешкою и всегда вздыхал при этом, – вот чем: старость наслал, матушка. Оно не то чтоб добре стар стал: какие еще мои года! Да так уж, видно, для людей состарелся. И делаешь, кажись, не хуже другого, а все не угодишь, все, по-ихнему, как бы не так выходит! То не так, это не так: не в угоду, стало, пришел. И добро бы, матушка, старые люди так-то осуждали: ну, все бы как словно не так обидно! А ведь иной вот живет без году неделю, молоко на губах не обсохло, а туда же лезет тебе в бороду... Вот, примерно, теперь хошь бы твой Васька... Ну, что я ему дался за скоморох такой? Чего он привязался?.. Нет, матушка, так, видно, завелось ноне на свете: дожил до старости, нет тебе ни в чем уваженья, никуда ты не годен!.. Я и тогда говорил: нам, старикам, житья ноне от молодых не стало... Добре много развелось их, матушка, – вот что!

В последнее время дядя Аким особенно как-то не благоволил к Василию. Нерасположение это, начавшееся с того самого утра, когда парень догнал и притащил Гришку, делалось с каждым днем сильнее и сильнее. Василий, подстрекаемый примером отца, подтрунил разочка два над Акимом. Тем бы, может статься, дело и покончилось, если б Аким не показал виду; но Аким, таивший всегда недоброжелательство к молодому парню, не выдержал: он обнаружил вдруг такой азарт, что все, кто только ни находились при этом, даже Ванюша и его собственный Гришутка, – все покатались со смеху. Это, как водится всегда в подобных случаях, пуще еще раззадорило молодого парня. Сначала дядя Аким огрызался; наконец стало не под силу: он замолк и уже с этой минуты стал отворачиваться всякий раз, как встречался с Василием.

Все шло, однако ж, хорошо до тех пор, пока Аким продолжал мало-мальски трудиться. Глеб молчал. Уверившись раз навсегда, что от свата нельзя было многого требовать, он наблюдал только, чтобы сват не ел даром хлеба. Так прошло два месяца. Не знаю, может статься, Аким показалось наконец обидным невниманием Глеба, или попросту прискучило долго жить на одном месте, или же, наконец, так уж совсем упал духом, но только к концу этого срока стал он обнаруживать еще меньше усердия. Наступил ли праздник, он уходит ни свет ни заря из дому и целый день на глаза не показывается. Несколько раз случалось даже пропадать ему дён на пяток и подолее. Никто не знал, куда он ходит и за какою надобностью. Если спрашивали его об этом, он отвечал обыкновенно с явным неудовольствием, что есть у него свои дела, что идет получать какие-то долгишки, или проведать идет такого-то, или же, наконец, что тот-то строго наказывал ему беспременно навестить жену и детей, и проч., и проч. Зная Акима, никто не сомневался, что все эти объяснения сущие выдумки. Возвращаясь он обыкновенно в дом рыбака измученный, усталый, с загрязненными лаптишками и разбитой поясницей, ложился тотчас же на печку, стонал, охал и так крепко жаловался на ломоту в спине, как будто в том месте, куда ходил получать долгишки, ему должны были несколько палок и поквитались с ним, высчитав даже проценты. Такие проделки повторялись чаще и чаще; вместе с ними усиливался лом в пояснице, сопровождавшийся всегда долгим возлежанием на печке.

– Послушай-ка, сват, – сказал Глеб, потерявший наконец терпение, – что ж ты это, в самом деле, а? Помнится, ты не то сулил, когда в дом ко мне просился. Где ж твои зарокисы?.. Лежебоков и без тебя много; кабы всех их да к себе в дом пущать, скоро и самому придется идти по миру... Ты думаешь, дал господь человеку рот да брюхо, даст и хлеб. Нет, братец ты мой любезный, жирно то будет! На это я тебе скажу вот еще какое слово: когда хочешь жить у меня, работай – дома живу, как хочу, а в людях как велят; а коли нелюбо, убирайся отселева подобру-поздорову... вот что!

Аким ничего не ответил; он тотчас же сел за дело, но весь этот день был сумрачен и ни с кем слова не промолвил.

Вечером, после ужина, он встретился с Анной в том самом переулке, где некогда высекали Гришку.

Выждав минуту, когда хозяйка подойдет к нему (видно было по всему, что дядя Аким никак не хотел сделать первого приступа), он тоскливо качнул головой и сказал голосом, в котором проглядывало явное намерение разжалобить старуху:

– Прощай, матушка Анна Савельевна!

– Что ты, мой батюшка? Куда ты? Христос с тобою! – воскликнула удивленная старуха.

– Да что, матушка, пришло, знать, время, пора убираться отселева, – уныло отвечал Аким. – Сам ноне сказал: убирайся, говорит, прочь отселева! Не надуть, говорит, тебя, старого дурака: даром, говорит, хлеб ешь!.. Ну, матушка, бог с ним! Свет не без добрых людей... Пойду: авось-либо в другом месте гнушаться не станут, авось пригожусь, спасибо скажут.

– Полно, Акимушка, полно, касатик! Брось это! – заговорила старуха, которая хотя и знала, что родственник ее напрасно жаловался на мужа и действительно в последнее время ел даром хлеб, но со всем тем искренно жалела о нем и всячески старалась удержать его. – Брось это, говорю; тебе это, родной, так только в голову вкинулось: полно! В чужих людях хуже еще горя напринимаешься; там тебе даром и рубашонки-то никто не вымоет. По крайности, хошь я здесь: малость, малость, а все пригляжу... Вестимо, свой человек, не чужак какой.

– Спасибо тебе, матушка, на ласковом твоём слове, – перебил Аким. – Я о тебе не говорю: век буду помнить добро твое. А только, воля твоя, мне здесь жить не приходится; так уж, видно, такая судьба моя!.. Сам сказал: ступай, говорит... И сам вижу, лишний я у вас... То не так, это не так – ну, и не надуть! Что ж, матушка, взаправду, в худого коня корм тратить!..

На всех не угодишь, матушка Анна Савельевна! Брань, да попрек, да глумление всяческое, – только я здесь у вас и слышал; спасибо не сказали! А за что? Худых каких делов за мной не было; супротивного слова никто не слышал; не вор я, не пьяница я, не ахаверник какой: за что ж такая напраслина? Трудился я не хуже ихнего: что велят, сделаю; куды пошлют, иду; иной раз ночь не спишь, все думается, как бы вот в том либо в другом угодить... Бог видит мою работу. Я ли не старался, я ли отнекивался от работы? Ну, да не угодил, матушка, нет... Такая уж, видно, судьба моя!.. Пойду, погляжу, авось-либо в другом месте пригожусь. А здесь, матушка, сам вижу, я здесь лишний у вас. Ведь сам ноне сказал: ступай, говорит, тебя мне не надоть!

Тетка Анна принялась снова увещевать его; но дядя Аким остался непоколебим в своем намерении: он напрямик объявил, что ни за что не останется больше в доме рыбака, и если проживет еще, может статься, несколько дней, так для того лишь, чтоб приискать себе новое место.

Случай не замедлил представиться.

Около этого времени одно из самых небольших озер на луговой стороне Оки было снято каким-то вольным рыбаком, переселившимся из другого уезда. Благодаря близкому соседству Глеб и новый рыбак свели знакомство. Озеро находилось всего в двух верстах от площадки, занимаемой Глебом: стоило только переехать Оку, пройти четверть версты песками, усеянными кустами ивняка, и еще три четверти версты лугами. Новый сосед имел мало общего с Глебом Савиным. Кондратий (так звали озерского рыбака) был уже человек преклонный, самого тихого, кроткого нрава; в одном разве могли они сойтись: оба были одинаково трудолюбивы и опытны в своем ремесле. Кондратий с первого же разу полюбился Глебу, его жене и всему семейству. Особенно полюбил его дядя Аким. Он тут же решил, что лучшего хозяина не сыскать ему, и нимало не сомневался, что сам господь нарочно послал Кондратия ему на выручку. К сожалению, дядя Аким не мог осуществить своих намерений так скоро, как бы ему хотелось. Из разговоров Кондратия оказалось, что он занимается покуда еще стройкой, рыбную ловлю начнет с осени и до того времени не будет, следовательно, нуждаться в работнике. Делать нечего, надо было потерпеть. Хорошо еще, что терпеть приводилось недолго: осень была уже на носу, чему ясным доказательством служили длинные белые волокнистые нитки тенетника, носившиеся в воздухе, а также и дикие гуси, вереницами перелетавшие каждый день Оку. Близость цели подкрепляла Акима. Нимало не сомневаясь, что при малейшей оплошности с его стороны Глеб Савинович вытурит его взашей из дому и тем самым, может статься, легко даже повредит ему во мнении нового хозяина, он снова принялся за работу. Надо сознаться, однако ж, что усердие Акима возбуждалось не столько последним этим соображением, сколько страхом, который наводил на него, особенно в последнее время, Глеб Савинович. Дядя Аким хорохорился только в присутствии Гришутки, Ванюши да еще тетушки Анны – ей одной передавал свои замыслы; в присутствии же старого рыбака он сохранял постоянно свой жалкенький, сиротский вид; один взгляд Глеба обдавал его потом. По поводу этого страха положение дяди Акима делалось день ото дня затруднительнее. Наступила наконец осень; уже полились дожди, уже первый снег выпал, а между тем дядя Аким все еще не мог придумать средства, как бы половчее высвободиться из когтей Глеба Савиновича. Так, попросту, сказать ему: «Не хочу, мол, у тебя оставаться!» – духу не хватает: осерчает добре, даром что сам гнал от себя. Убежать? Глеб Савинович не токмо за две версты – и на дне океана-моря сыщет. Завалиться без просыпу на печку и дожидаться, пока не вытурят тебя взашей из дому, как словно и того страшнее. Как тут быть? Не больно, кажись, мудрое дело, ан – лих его! – не дается.

Но недолго помучился так-то дядюшка Аким: судьба сжалилась, видно, над ним и сама взялась распутать за него все затруднения.

Вот как это случилось.

Был один из тех ненастных, студеной дней, какие часто встречаются к концу осени, – один из тех дней, когда самый опытный пахарь не скажет, зима ли наступила наконец или все еще продолжается осень. Снег валил густыми, липкими хлопьями; гонимые порывистым, влажным ветром, они падали на землю, превращаясь местами в лужи, местами подымаясь мокрыми сугробами; клочки серых, тяжелых туч быстро бежали по небу, обливая окрестность сумрачным светом; печально смотрели обнаженные кусты; где-где дрожал одинокий листок, свернувшийся в трубочку; еще печальнее вилась снежная дорога, пересеченная кое-где широкими пятнами почерневшей вязкой почвы; там синела холодною полосой Ока, дальше все застилалось снежными хлопьями, которые волновались как складки савана, готового упасть и окутать землю... В такой-то именно день Глебу встретила крайняя надобность повидаться с дедушкой Кондратием: требовалось получить с соседа деньжонки за солому, взятую им на покрывку кровли. Срок платежа вышел уже неделю тому назад, и хотя Глеб нимало не сомневался в честности озерского рыбака, но считал, что все же надежнее, когда деньги в кармане; недолго гадая и думая, послал он туда дядю Аким. Он и сам бы сходил – погода ни в каком случае не могла быть ему помехой, – но пожалел времени; без всякого сомнения, плохой его работник не мог провести день с тою пользою для дома, как сам хозяин. Впрочем, дядя Аким сам охотно вызвался сходить к Кондратию.

Аким поспешно нахлобучил шапку, прикутался в сермягу и вскоре исчез за снегом.

Никто не ждал от него скорого возвращения: все знали очень хорошо, что дядя Аким воспользуется случаем полежать на печи у соседа и пролежит тем более и охотнее, что дорога больно худа и ветер пуще студен. Никто не помышлял о нем вплоть до сумерек; но вот уже и ночь давно наступила, а дядя Аким все еще не возвращался. Погода между тем становилась хуже и хуже; снег, превратившийся в дождь, ручьями лил с кровель и яростно хлестал в окна избы; ветер дико завывал вокруг дома, потрясая навесы и раскачивая ворота.

– Что же он нейдет, в самом-то деле? Уж, помилуй бог, не прилунилось ли чего? – проговорила Анна, заботливо поправляя лучину.

– Эх ты, матушка ты моя, – подсмеиваясь, прибавил Глеб, строгавший у порога новое весло, – вестимо, прилучилось: я чай, корчится сердечный, зазяб совсем, зуб с зубом не сведет... лежа на печи у соседа.

Василий, детки и жена Петра громко захохотали.

В ответ на это за дверью сеней послышалось неожиданно глухое стелание.

Глеб стукнул кулаком в дверь и отворил ее настежь.

– Кто там?

– Я... я... о-о! – отозвался дрожащий, едва внятный голос, по которому все присутствующие тотчас же узнали дядю Аким.

Хозяйка схватила лучину, выбежала в сени и минуту спустя ввела своего родственника.

Аким действительно корчился от стужи, но только не на печи Кондратия, а в собственной сермяге, насквозь пропитанной дождем; вода лила с него, как из желоба. Он дрожал всем телом и едва стоял на ногах.

– Ну, у-у, совсем, знать, разломило, – сказал Глеб, подпираясь веслом и приподымаясь на ноги. – Принес ли, по крайности, хоть деньги-то?

– У-у-у, – отвечал Аким, прикладывая дрожащую руку к пазухе и принимаясь трястись пуще прежнего.

– Ладно, вижу, – промолвил рыбак (взял деньги, вынул их из тряпицы и сосчитал). – Ладно, – заключил он, – ступай скорей на печку... Много трудов принял ноне, сватьяшка!.. Я чай, и завтра не переможешься: отдышать да греться станешь?

В этот вечер много было смеху, к совершенному неудовольствию тетки Анны, которая не переставала вздыхать и ухаживать за своим родственником. Но веселое расположение

Глеба превратилось, однако ж, в беспокойство, когда увидел он на другой день, что работник его не в шутку разнемогся.

«Вот скучали, хлопот не было, – думал рыбак, – вот теперь и возись поди! Что станешь с ним делать, коли он так-то у меня проваливается зиму? И диковинное это дело, право, какой человек такой: маленько дождем помочило – невесть что сделалось, весь распался, весь разнедужился... Эх! Я и прежде говорил: пустой человек – право, пустой человек!»

Предчувствия не обманули Глеба. Дядюшка Аким подавал надежду пролежать если не всю зиму, так по крайней мере долгое время. Он лежал пластом на печи, не принимал пищи, и лишь когда только мучила жажда, подавал голос. Так прошло несколько дней.

Раз вечером, когда все семейство рыбака, поужинав, собиралось спать, с печки неожиданно послышались раздирающие стоны.

– Чего тебе? – нетерпеливо спросил Глеб.

– Батюшка, – проговорил Аким прерывающимся голосом, – чую... ох... чую, смерть моя близко!.. Не дайте... отцы... помереть без покаяния!..

Глеб кивнул головой Василию, вышел с ним в сени и велел сходить как можно скорее в Сосновку за священником.

Минуту спустя посреди свиста ветра и шума дождя раздались шаги удаляющегося парня.

Василий возвратился с священником поздно в ночь на телеге. Исповедавшись и причастившись, больной как будто успокоился, и несколько часов не слышно было его голоса. Но в полдень стоны его раздались с новой силой. Больной стал призывать по имени то того, то другого. Семейство рыбака, не выключая Василия, который только что вернулся из Сосновки, окружило Акима, уже перенесенного на лавку под образа. Никто не плакал, но ни одно лицо не выражало равнодушия. Все молча, задумчиво смотрели на бледное, изрытое лицо больного, слегка освещенное серым осенним днем.

– Чего тебе, кормилец мой? – спросила Анна, наклоняясь к нему и едва сдерживая слезы.

– Гри... Гришутку!.. – мог только произнести умирающий.

Глеб взял мальчика и поставил напротив лавки.

Дядя Аким устремил на него мутный, угасающий взор. Долго-долго смотрел он на него, приподнял голову, хотел что-то сказать, но зарыдал как дитя и бессильно опустил голову, между тем как рука его, очевидно, искала чего-то поблизости.

– Полно, касатик! Что убиваешься! Авось бог милостив... Полно! – проговорила Анна, закрывая лицо фартуком.

Дядя Аким покачал головою, повернулся лицом к мальчику и снова устремил на него потухающий, безжизненный взор.

– Смотри, Гриша, – проговорил он наконец, делая усилия, чтобы его слова внятно дошли до слуха присутствующих, – вот я скоро... Ты теперь один останешься! Смотри... слушайся во всем... Глеба Савиныча... Почитай его пуще отца... Прощай... Гриша!.. Гриша!..

Дядя Аким взял руку мальчика, положил ее к себе на грудь и, закрыв глаза, помолчал немного. Слезы между тем ручьями текли по бледным, изрытым щекам его.

В той стороне, где стояла Анна, послышались затаенные рыдания.

– Глеб, – начал снова дядя Аким, но уже совсем ослабевшим, едва внятным голосом. – Глеб, – продолжал он, отыскивая глазами рыбака, который стоял между тем перед самым лицом его, – тетюшка Анна... будьте отцами... сирота!.. Там рубашонка... новая осталась... отдайте... сирота!.. И сапожишки... в каморе... все... ему!.. Гриша... о-ох, господи.

Дядя Аким хотел еще что-то сказать, но голос его стал мешаться, и речь его вышла без складу. Одни мутные, потухающие глаза все еще устремлялись на мальчика; но наконец и те стали смежаться...

Глеб перекрестился, сложил руки покойника, снял образ и положил ему на грудь.

Дети, бледные и дрожащие от страха, побежали с плачем и воем в сени.

В избе остались сноха, Глеб, Василий и Анна, которая стояла уже на коленях и, обняв ноги покойника, жалобно причитывала.

Глеб приказал Василию сходить на озеро за дедушкой Кондратием и попросить его почитать псалтырь, а сам тотчас же отправился заняться приготовлениями к похоронам.

На крыльце встретил он Гришу и Ваню. Оба терли кулаками глаза и заливались навзрыд.

– Полно, Гриша, – сказал рыбак, глядя его по голове, – не плачь, слезами тут не пособишь... перестань... О чем плакать! Воля божья...

– Как же не плакать-то, – возразил Гришка, горько всхлипывая, – как же? Ведь вот он один сапог-то сшил, а другого не сшил... не успел... так один сапог теперь и остался!

– Ну, есть о чем крушиться! Эх ты... глупый, глупый! Ну, а ты о чем? – спросил он, поворачиваясь к сыну.

– Как же, дядюшка-то? Ведь, я чай, жаль его! – отвечал Ваня, рыдая на весь двор.

Глеб Савинов подавил вздох, провел ладонью по высокому лбу и медленно пошел сколачивать гроб для дядюшки Акима.

VIII

Детство

...Уныло воет ветер в дождливую, холодную осень. Прислушайтесь: слышите, с каким суетливым беспокойством шарит он вокруг каждого кусточка и стебля, как будто отыскивая там что-то забытое или утраченное. Он заглядывает в каждое дупло, в каждую скважину, поднимает каждый поблекший листок, каждую травку и, как путник, вернувшийся на родину, который вместо уютного крова находит всюду одну глухую пустыню, мчится далее, к темному лесу, неся на плечах своих гряды сизых туч – нажитое богатство! Но помертвелый лес, окутанный туманным своим саваном, не встречает уже его ласковой речью, не кивает ему приветливо кудрявой головой. Отчаянный рев ветра сменяется тогда тоскливым плачем и ропотом. Серые тучи нависли и нахмурились. Поля, лощины и леса окропились прощальной слезою. И вот снова, как бы негодуя на свою слабость, ветер одним махом подобрал сизые тучи, бросился к опушке и, взметнувшись вихрем, помчался далее, увлекая на пути мокрые желтые листья. Этот унылый вой, неотвязчиво надрывающий сердце, ненастье и слякоть, его сопровождающие, прискучили даже поселянину, привыкшему ко всяким непогодам. Но вот пришла наконец и «зимняя Матрена», поднялась зима на ноги; прилетели морозы с «железных гор». Река стала. Резко зазвучали колеса на колкой, мерзлой дороге, захрустели в колесах ледяные иглы, весело блеснули на солнце длинные ледяные сосульки, облепившие бахромою окна и кровли избышек. Выпал первый снег. Шумною толпой выбегают ребятишки на побелевшую улицу; в волоковые окна выглядывают сморщенные лица бабушек; крестясь или радостно похлопывая рукавицами, показываются из-за скрипучих ворот отцы и старые деды, такие же почти белые, как самый снег, который продолжает валить пушистыми хлопьями. Наступила пора всеобщего отдыха. Работы решены: уж обмолотились. С трудом вызовешь теперь мужичка из теплой избы, окутанной соломой, припертой жердями и полузанесенной снегом. Разве придется съездить в соседний лес за валежником, или нужда велит идти с обозом. И снова спешит он в теплую избу свою. Котко летят его пустые санишки по буграм и раскатам, нетерпеливо взглядывает он из-под рогожи в снежную даль... «Прочь с дороги!» Там сквозь сумерки уже мелькает огонек, приветливо подымается витая струя дыма над трубным горшочком. Чаше и чаще покрикивает он на клячу; но кляча сама уже почуяла стойло и во всю скачь помчалась с косогора. Сладко ведь отдохнуть и порасправить кости после тяжелого страдного лета и многозаботной осени.

Но в рыбацком ремесле совсем иное дело. Рыбак вольнее пахаря, но зато ремесло его позаботливее. Он не знает зимы. На озерах рубит он «окна» (проруби), чтоб рыба не мерла от «придухи»; на реках расчищает снег, высматривает спящую, прижавшуюся ко льду щуку, «глушит» ее обухом, взламывает лед и тащит свою добычу. Хлебец лежит себе да лежит в закроме до красной цены, до сходного времени, – лежит, и нечего кроме добра от него чаять. Рыба – живая тварь: штука поймать ее, а сбыть еще мудренее. Поди-ка таскайся с нею по базарам, прикидывайся к ценам: сегодня берем живьем, завтра давай мерзлую, а тронуло мало-мальски теплом – пошел ни с чем. Хлебец везде и всегда надобен; рыба не то: товар временной.

И уж зато как же радовался Глеб, когда, покончив дела свои, померзнув день-деньской на стуже, возвращался к вечеру в избу и садился плесть свои сети. В эти долгие зимние вечера заходила иногда речь о покойном дяде Акиме. Мало-помалу, однако ж, воспоминания эти, сопровождавшиеся вначале печальными возгласами тетки Анны, делались реже и реже. Изредка лишь, и то при случае, Глеб и Василий расскажут какую-нибудь выходку «мастака-работника» (так, смеясь, называли всегда покойника); но, слушая их, уже редко кто нахму-

ривал брови, – все охотно посмеивались, не выключая даже добродушной тетки Анны и приемыша, который начинал уже привыкать к новым своим хозяевам.

Сближение Гришки с семейством рыбака происходило медленно. Он оставался на вид все тем же полудиким, загрубелым мальчиком, продолжал по-прежнему глядеть исподлобья и ни слова не произносил, особенно в присутствии Глеба. Трудно предположить, однако ж, чтоб мальчик его лет, прожив пять зимних месяцев постоянно, почти с глазу на глаз с одними и теми же людьми, не сделался общительнее или по крайней мере не освободился частью от своей одичалости; это дело тем невероятнее, что каждое движение его, даже самые глаза, смотревшие исподлобья, но тем не менее приткие, исполненные зоркости и лукавства, обозначали в нем необычайную живость. Оно в самом деле так и было. Наступившее лето показало, что только постоянное присутствие Глеба, которого боялся Гришка пуще огня, заставляло его прикидываться таким смирячком. Живой и буйный нрав Гришки развернулся вполне, как только ему и Ване предоставлена была полная волюшка рыскать по окрестности. Свобода и несколько плотков свежего, вольного воздуха превратили, казалось, кровь его в огонь: он жил как волчонок, выпущенный в поле. Новая жизнь, раздолье и простор самой местности пришлись ему, очевидно, более по сердцу, чем скучные деревушки и дымные избы, в которых провел он с Акимом первые годы своего детства. Тут уже самый страх, наводимый на него Глебом, не в силах был обуздать его резвости. Жену Петра и Василия он в грош не ставил. Над тетушкой Анной, которая иной раз бралась увещевать его, он просто смеялся. Гришка помыкал Ваней, как будто сам был любимый хозяйский сын, а тот – чужой сирота, Христа ради проживавший в доме. Он бил и колотил его часто даже без всякой причины и удержу. Раз дело зашло так далеко, что Ваня пожаловался матери; впрочем, и без этого синяки Вани не преминули бы уличить Гришку. Тетка Анна погрозила рассказать все отцу. К вечеру Глеб натер Гришке вихры. На другое же утро у Анны пропали нитки и ножницы. Искали, искали – все напрасно. Наконец после трех дней бесполезного шарканья по всем возможным закоулкам затерянные предметы были найдены между грядами огорода, куда, очевидно, забросила их чья-нибудь озорная рука, потому что ни тетка Анна, ни домашние ее не думали даже заходить в огород. Гришка был шибко, больно наказан. Но на другой же день голос его снова загремел на дворе, и снова начались шалости. В играх и затеях всякого рода он постоянно первенствовал: он иначе не принимался за игру, как с тем, чтобы возложили на него роль хозяина и коновода, и в этих случаях жутко приходилось всегда его товарищу, но стоило только Глебу напасть на след какой-нибудь новой шалости и потребовать зачинщика на расправу, Гришка тотчас же складывал с себя почетное звание коновода и распорядителя, сваливал всю вину на сотрудника и выдавал его обыкновенно с руками и ногами.

Со всем тем Ваня все-таки не отставал ни на шаг от приемыша; он даже терпеливо сносил толчки и подзатыльники. Такое необычайное снисхождение могло происходить частью оттого, что Гришка наводил страх на него, частью, и это всего вероятнее, Ваня успел уже привязаться к Гришке всею силою своего детского любящего сердца.

Теперь перейдем к одному обстоятельству в жизни двух мальчиков, которое, можно сказать, решило впоследствии судьбу их.

Раз как-то, в прекрасный июльский день, Гришка и Ваня покачивались в челноке, который крепился к берегу помощью веревочной петли, заброшенной за старое весло, водруженное в песок. Но, может быть, читатель не знает, что такое рыбацкий челнок. Челнок рыбака совсем не то, что челнок обыкновенный: это – узенькая, колыхливая лодочка с палубой, посреди которой вырезано круглое отверстие, закрывающееся люком; под этой палубой может поместиться один только человек, да и то враспашку; в летнее время у рыбака нет

другого жилища: ночи свои проводит он в челноке. С вечера забирает он «верши»⁵, уезжает в реку, забрасывает их, завязывает концы веревок к челноку и бросает маленький якорь; после этого рыбак крестится, растягивается на дне палубы, подостлав наперед овчину, закрывает люк; тут, слегка покачиваясь из стороны в сторону в легкой своей «посудине», которая уступает самому легкому ветерку и мельчайшей зыби, засыпает он крепчайшим сном.

Гришка сидел на корме челнока и, свесив смуглые худые ноги свои через борт, болтал ими в воде. Ваня сидел между тем в трюме, и наружу выглядывало только свежее, румяное личико его. Белокурая голова мальчика, освещенная палящими лучами полуденного солнца, казалась еще миловиднее и нежнее посреди черных, грубо высмоленных досок палубы.

– Знаешь что, Ванюшка? – сказал Гришка, неожиданно перебрасывая левую ногу через борт и садясь верхом на корму.

– Ну?

– Переедем на ту сторону.

– А тятка? – произнес Ваня, поворачивая испуганные глаза на собеседника.

– Да ведь его теперь дома нет: в Сосновку ушел.

– Ну, а как вернется?

– Глупый!.. Да мы к тому времени давно здесь будем.

И, не дожидаясь возражений, он быстро скакнул на берег; но руки его никак не могли перекинуть петлю через конец весла, и он принялся раскачивать его изо всей мочи.

– Тронься только с места, сойди только, так вот тебя тут и пришибу! – сказал он, показывая кулак Ванюшке, который, испугавшись не на шутку дерзости предприятия, карабкался из отверстия.

– Вишь какой! Ведь, я чай, страшно.

– Чего?

– Ну, а как нас вон туда – в омут понесет! Батя и то сказывал: так, говорит, тебя завертит и завертит! Как раз на дно пойдешь! – произнес Ваня, боязливо указывая на противоположный берег, где между кустами ивняка чернел старый пенек ветлы.

– А зачем нас туда понесет? Я чай, мы будем грести наискось... Рази ты не видал, как брат твой Василий управляется? Вишь: река вон туда бежит, а мы вон туда станем грести, все наискось, вон-вон, к тому месту – к дубкам, где озеро.

– Да ты думаешь, река-то узка? Не справишься: потонем!

– А небось широка, по-твоему? Эх ты! – нетерпеливо возразил Гришка.

Ширина больших рек действительно обманывает глаз. Так бы вот, кажется, и переплыл; а между тем стоит только показаться барке на поверхности воды или человеку на противоположном берегу, чтобы понять всю огромность водяного пространства: барка кажется щепкой, голос человека чуть слышным звуком достигает слуха.

Весло, глубоко вбитое в песок, плохо уступало, однако ж, усилиям Гришки. Нетерпение и досада отражались на смуглом остром лице мальчика: обняв обеими руками весло и скрежеща зубами, он принялся раскачивать его во все стороны, между тем как Ваня стоял с нерешительным видом в люке и боязливо поглядывал то на товарища, то на избу.

Наконец весло повалилось.

– Полно, Гришка! Оставь лучше.

– А вот погоди... вот! – отвечал приемыш, схватил весло, припер грудью челнок, пустил его на воду и одним прыжком очутился на палубе.

⁵ Род продолговатых корзин, сплетенных из хвороста; один конец верши сведен конусом, другой открыт для входа рыбы, которая уже не может вернуться назад, задерживаемая другим плетеным из хвороста конусом, острие которого обращено внутрь. Сбоку приделано окошечко для вынимания рыбы. К острому концу верши привязывается камень для погружения ее в воду. Верша вынимается из воды с помощью веревки, привязанной к кольцу из хвороста. (Прим. автора.)

На все это потребовалась одна секунда, и Ваня не успел опомниться, как он и его товарищ были уже далеко от берега. Но сколько Гришка ни размахивал веслом, заставляя своего товарища накренивать челнок то на один бок, то на другой, их понесло течением реки в совершенно противоположную сторону от дубков. Сердце сильно застучало в груди обоих мальчиков, когда увидели они себя так далеко от дома. Страх овладел ими еще пуще, когда челнок, вертясь и повинаясь быстрому течению, стал приближаться к черному пню старой ветлы. Гришка вскрикнул, выпустил весло и прицепился к краям борта. Ваня исчез под палубой и забился в угол. Оба заплакали. Отчаяние их не было, однако ж, продолжительно.

– Проехали! Омут проехали! – воскликнул неожиданно Гришка.

Ваня высунул голову из люка и, как бы внезапно пробуждаясь от сна, с испугом оглянулся.

Старый пень находился уже позади их. Челнок быстро несясь к берегу. Сделав два-три круга, он въехал наконец в один из тех маленьких, мелких заливов, или «заводьев», которыми, как узором, убираются песчаные берега рек, и засел в густых кустах лозняка. Мальчики ухватились за ветви, притащили челнок в глубину залива и проворно соскочили наземь. Страх их прошел мгновенно; они взглянули друг на друга и засмеялись.

– Ну, а как же мы назад-то поедem, без весла-то? – сказал вдруг Ваня, и личико его снова отуманилось.

– А вот что, – возразил с живостию Гришка, – мы пойдем на озеро к дедушке Кондратию: он нас перевезет.

– И то, и то! Да куда ж идти-то? – радостно подхватил Ваня.

– Выйдем на луг: там оглянемся. Отселева, из-за кустов-то, озера не видно... Пойдем.

– А заблудимся?

– Эвось-на! Разве эти кусты-то не видал ты с нашего берега?.. Идут недалече! Сейчас луга пойдут, а там и озеро... Ну, валай!

И оба побежали, перепрыгивая поминутно через сыпучие песчаные овражки, заросшие широкими серо-зелеными листьями лопуха. Темная зелень ежевичника и осоки, смешиваясь с глянцеви́тою, серебристою листвою ветлы и ивы, обступала стеною наших мальчиков. На песок выбегали, переплетаясь между собою, черные узловатые корни, кругом обмытые весеннею водою. Попадая раз в этот тесный лабиринт, шалуны сами не знали уже, как выбраться. Над головами их подымались со всех сторон и высоко убегали в синее небо обнаженные ветви, покрытые кое-где косматыми пучками сухих трав, принесенных на такую высоту весеннею водою, которая затопляет луговой берег верст за семь и более. Вершины ветел усеяны были обезображенными корягами, засевшими также во время водополья. Бесчисленное множество дорожек изгибалось по всем возможным направлениям. Изредка, впрочем, открывались ровные, гладкие площадки тонкого песка, усеянные мелкими белыми раковинами и испещренные лапками речных куликов. Близость реки всюду сказывалась. В тени чувствовалась свежесть. Запах сырого песка, смешиваясь с запахом лопуха, разливался в воздухе. Набегавшись вдоволь, запыхавшись так, что едва переводили дух, наши мальчики наконец остановились.

– Ну, где ж луга-то? Вишь, нету! – сказал Ваня, отирая рукою пот, струившийся по покрасневшему лицу его.

Гришка оглядывался во все стороны. В смуглых чертах его не было ни малейшего признака смущения.

– Постой! Шт! Молчи! Я слышу чей-то голос! – произнес он, неожиданно приподняв руку.

Оба стали прислушиваться.

В самом деле, посреди слабого шелеста насекомых раздался вдруг тоненький-тоненький голосок. Голос, приближавшийся постепенно, напевал песню.

– Слышь, Ваня?

– Слышу.

– Пойдем туда! Слышь, девчонка поет! – сказал Гришка.

– Ну, пойдем.

Но не успели они сделать несколько прыжков, как уже очутились прямо против певунии.

То была хорошенькая девочка лет восьми, с голубыми, как васильки, глазами, румяными щечками и красными смеющимися губками; длинные пряди белокурых шелковистых волос сбегали золотистыми изгибами по обеим сторонам ее загорелого, но чистенького, как словно обточенного личика. Она собирала валежник. Связка сухих ветвей лежала на руке девочки и, свесившись немного набок, обнажала полное загорелое плечико, привлекательно круглившееся на складках белой рубашки, которая прикрывала только до колен ее тоненькие быстрые ножки. Застигнутая врасплох, певунья остановилась как вкопанная, пугливо взглянула на мальчиков и, раскрыв губки, выпустила валежник, который, ветка за веткой, посыпался на песок.

– И то девчонка! Ишь ее как распевает! – сказал Гришка, осматривая ее с любопытством.

– Ты чья? – спросил Ваня.

Девочка молчала. Валежник продолжал сыпаться к ногам ее.

– Что ж ты не говоришь ничего?

– Запужалась добре: знает, с разбойниками повстречалась! Ведь мы разбойники! – воскликнул Гришка, подпираясь в бока кулаками и страшно хмурия брови.

– Вишь... как же... разбойники! – проговорила девочка, ободренная смехом Ванюши.

– Вестимо, разбойники!

– Да ты отколе? – продолжал расспрашивать Ваня.

– А с озера, чай! – отвечала девочка.

– С какого озера?

– А вам зачем? С озера...

– Постой, Ванюша: я вот ее... Она у меня скажет! – произнес Гришка, делая шаг к девочке.

– Тронь только! – вскрикнула она, схватывая ветку и становясь в оборонительное положение. – У меня тут вот тятка за кустами: он те даст!

– А кто твой тятка? – спросил Гришка, озираясь на стороны.

– А дядя Кондратий, чай, – вот кто!

– Эвона! Ведь мы его знаем!

– Да вы отколь? – бойко спросила девочка.

– А мы с речки: мы рыбаки!

– Уж и рыбаки! – возразила девочка, сомнительно посматривая на мальчиков.

– Не веришь?

– Нет, вы мальчишки: рыбаки-то, я чай, с бородами.

– А рази у всех борода-то?

– У всех, – лаконически отвечала девочка, нагибаясь и принимаясь подбирать валежник.

– Ты говоришь, тятка твой близко, – произнес Ванюша, – что ж его не слышать?

– А он вот там, за кустами.

Действительно, неподалеку послышался стук топора.

– Дуня! – проговорил вслед за тем протяжный, спокойный голос. – С кем это ты там калякаешь?

Девочка подняла ветви, положила их на плечо и, не взглянув даже на мальчиков, побежала в ту сторону, откуда раздался голос.

Гришка и Ваня последовали за нею, и вскоре все трое очутились у опушки кустов, где начинался уже луг, сначала желтый, редкий, перемешанный с песком, но постепенно зеленеющий и убегающий в необозримую даль, задернутую переливающимися струями раскаленного воздуха.

Тут, под синеватою тенью раскидистых ив, сидел старик лет шестидесяти. Его белые как снег волосы, волною ниспадавшие до плеч, придавали ему вид самый почтенный, патриархальный, чему немало также способствовало выражение неизъяснимого спокойствия, кротости и добродушия, разлитое во всех чертах его. Его обнаженный лоб, виски и щеки усеяны были теми мелкими, тоненькими морщинками, которые даются только тихою, спокойною жизнью. Жизнь старика отражалась, впрочем, еще яснее в светло-голубых глазах его, смотревших с какою-то детскою простотою. Это был дедушка Кондратий, озерский рыбак и отец Дуни. Подле него лежала с одной стороны начатая верша, с другой – ворох красноватых прутьев лозняка.

– Э-э! Так вот это ты с кем калякала! То-то, слышу я: та, та, та... Отколь вы, молодцы? Как сюда попали? – сказал старик, потряхивая волосами и с улыбкою поглядывая на мальчиков.

Мальчики, перебивая друг дружку, рассказали повесть первых своих неудач на мореходном поприще; оба просили дедушку перевезти их на ту сторону.

– Перевезти-то я вас перевезу, а только в другой раз, смотрите, ребятенки, одни так-то по реке не пускайтесь. Скажи на милость, баловники какие!.. А? Одни без спроса по реке ездят! Ну, долго ли до греха? Где вам еще управиться!.. Слава те, господи, в омут не попали! Что бы сказал тогда Глеб-то Савинич? Ну, ступайте на озеро за веслом... Что с вами станешь делать!.. Дуня, подь-ка, матушка, с ними, укажи дорогу, а сама назад не приходи. Я только вот перевезу их, да и домой... Ну, ребяташки, в бежки! Кто попрытчее из вас! Ну-ткась, ну-ткась, я погляжу...

Проводив их глазами, старик снова уселся за свои верши.

Спустя немалое время Гришка и Ваня возвратились, таща на плечах весло и багор. Солнце высоко еще стояло в небе, когда оба очутились на берегу. Все сошло благополучно. Глеб Савинич ничего не приметил. Но переправы через Оку и встречи с дочкой Кондратия не замедлили вскоре возобновиться. Это произошло вот по какому случаю: раз как-то в разговоре с Глебом дедушка Кондратий вызвался выучить грамоте Гришку и Ваню. Глеб долго смеялся над таким предложением: он вообще терпеть не мог всего того, что мало-мальски отклоняет работника от прямого пути и назначения. О грамоте он и слышать не хотел, называл ее самым пустячным и негодным делом.

– Наша доля невод таскать, а не в книжки читать! – говорил он. – Видал я много этих книжников-то, что разумны больно... Вот, примером сказать, знал я одного: так же, как мы с тобою, рыбак был, – Ковычкой звали. Все книжки, какие только исписаны, вытвердил, а толку никакого: пустой был самый человек! Сначатия-то, до книг, все еще, куда ни шло, работал; ну, а как далась ему эта грамота, добре стал хмельным делом зашибаться... Это первое; а хуже всего то, что зачитался: ум за разум зашел – вот что!.. Нашему брату это не годится. Бывало, заговоришь с ним – и пошел писать языком. Иной раз такое тебе сбрендит, и в толк не возьмешь. Самый пустой был человек! А все отчего? Все от эвтих книг, право так!

Дедушка Кондратий не возражал: он мерекал иначе об этом деле. Сверх того, он знал, что настаивать в этом деле – значит только заставить Глеба еще пуще крепиться и упираться. Основываясь на этом, он не пропускал случая исподволь заманивать к себе ребятшек. Гришка и Ваня очень охотно следовали за стариком. Дни, проводимые ими на озере, удаляли их от дома – обстоятельство, имеющее всегда много привлекательного для детского

возраста. Глеб тотчас же смекнул, зачем Кондратий уводил мальчиков; но так как сосед не перечил ему в его мнениях касательно грамоты, он смотрел на эти проделки сквозь пальцы. Он ограничивался тем только, что подтрунивал над ребятишками, называя их «дьячками» и «грамотниками» – прозвище, которого они далеко, впрочем, не заслуживали. Грамота шла из рук вон плохо. Дедушка Кондратий, в простоте своего сердца, рассчитывал на усердие учеников: сам он не мог уделить им много времени. Жена его умерла вскоре после родов дочки. Он да наемный работник должны были управляться и по ремеслу и по хозяйству. Доброта его также немало располагала ребят к лени и ничегонеделанью. Знали хорошо, что дедушка только вот побранит разве, и в ус себе не дули. Большую часть дня играли они с Дуней или рыскали по берегам озера. В три года оба едва-едва разбирали склады.

К концу этого срока Ваня начал, однако ж, чаще сидеть в доме дедушки Кондратия; внимательнее следил он за дрожащим, сморщенным пальцем старика, когда тот водил по ветхим страничкам букваря. Гришка между тем продолжал повесничать. Он готов был десятки раз взлезть на макушку самого высокого дуба, чем посидеть минутку за букварем дедушки Кондратия. Сидячая жизнь не отвечала его живому, буйно-неукротимому нраву. В то время как Ваня и Дуня проводили вечера неразлучно с дедушкой, Гришка пропадал на лесистых берегах озера, снимал галочки гнезда, карабкался на крутых обрывах соседних озер и часы целые проводил, повиснув над водою, чтобы только наловить стрижей (маленькие птички вроде ласточек, живущие в норках, которыми усеяны глинистые крутые берега рек и озер). Ведь, кажется, легче было бы ему сидеть со стариком, чем висеть над обрывом и целые часы, не переводя духу, караулить какого-нибудь стрижа; однако ж он предпочитал последнее. По тринадцатому году он уже управлял веслом не хуже Василия, переплывал Оку взад и вперед без одышки, нырял как рыба. Любимым занятием его было преследовать караваны барок, которые показывались на реке, и перебраниваться с лоцманами и бурлаками. Стоя на палубе вертлявого челночка и управляясь одним веслом, он как вьюн вилял между узенькими промежутками быстро несущихся расшив, всех удивляя своей смелостью и удалью. Мало-помалу Глеб начал приучать Гришку и Ваню к ремеслу. Тут удаль приемыша несколько поугомонила; он был, однако ж, ловок и сметлив и скоро понял дело. Впрочем, и Ваня не отставал от него. Вся разница заключалась в том лишь, что сын рыбака делал дело без крику и погрому, не обнаруживая ни удали, ни залихватства; но тем не менее дело все-таки кипело в его руках и выходило прочно. В воскресные и праздничные дни они отправлялись обыкновенно на озеро. Чуть только забрезжит заря – они уж там. Дочка Кондратия была единственным товарищем по летам обоих парнишек. Дедушку Кондратия не больно радовали такие посещения: все, бывало, вверх тормашкой поставят в его лачуге, не оставят даже в покое самого озера, гладкую поверхность которого с утра до вечера режут челноком по всем направлениям. Хуже всего то, что в этих играх, посреди которых слышался всегда громче других голос Гришки, не обходилось без побоищ. Нередко даже старик заставлял свою Дуньку со слезами на глазах и всклоченными волосами; но Дуня никогда не жаловалась на Гришку; напротив того, несмотря на всегдашнее заступничество Вани, она присоединялась к приемышу, и оба подтрунивали над сыном Глеба; нередко даже соединенными силами нападали они на него. Такое предпочтение приемышу продолжалось, однако, до известного времени: с возрастом чувства девочки разделялись, казалось, поровну между товарищами детства; привязанность ее к обоим была, по-видимому, одинакова. Быстро мелькают золотые дни беспечного, веселого детства! Ваня и приемыш незаметно почти превратились в юношей. Оба они сменили уже Василия. Глеб Савиныч женил его и отпустил за братом Петром в «рыбачьи слободы» – благо сходно было ему иметь теперь под рукою двух молодцов-работников. Не нарадуется, бывало, Глеб Савиныч, глядя на Гришку.

«Чтой-то за парень! Рослый, плечистый, на все руки и во всякое дело парень! Маленечко вот только бычком смотрит, маленечко вороват, озорлив, – ну, да не без этого! И в

хорошем хлеву мякина есть. И то сказать, я ведь потачки не дам: он вороват, да и я узловат! Как раз попотчую из двух поленцев яичницей; а парень ловкий, нече сказать, на все руки парень!»

Не мало также, если еще не более, радовался старый рыбак, глядя на Ваню, невзирая даже на то, что часто трунил над ним, называя его «дьячком» и «грамотником».

Ваня не был так плечист, может статься, даже не был так расторопен и боек, как Гришка, но уж во всяком случае не уступал ему ни по лицу, ни в работе. Славный был также рыбак! Его светлые, умные, хотя несколько задумчивые глаза смотрели прямо и откровенно; румянец играл во все его полные щеки, слегка подернутые первым пушком юности; его белое, чистое и круглое лицо, окруженное светло-русыми кудрями, отражало простоту души, прямизну нрава и какое-то достоинство. Словом, он представлял тот благородный, откровенный, чистый тип славянского племени, который так часто встречается в нашем простонародье, но который, к сожалению, редко достигает полного своего развития.

Да, было чем порадоваться на старости лет Глебу Савинову! Одного вот только не мог он взять в толк: зачем бы обоим ребятам так часто таскаться к соседу Кондратию на озеро? Да мало ли что! Не все раскусят старые зубы, не все смекает старая стариковская опытность. Впрочем, Глеб, по обыкновению своему, так только прикидывался. С чего же всякий раз, как только Гришка и Ваня возвращаются с озера, щурит он глаза свои, подсмеивается втихомолку и потряхивает головою?..

IX Озеро

Семейство рыбака Глеба, от мала до велика, находилось в ужаснейших хлопотах. Двор завален был ворохами соломы; навес, примыкавший к правой стороне передних ворот, лежал раскинутый по всей площадке. На его месте воздвигался новенький, только что поставленный сосновый сруб; золотистые бревна его, покрытые каплями смолы и освещенные солнцем, весело глядели на все стороны и как бы подсмеивались над черными, закоптелыми стенами старого жилища, печально лепившегося по левой стороне ворот. Глеб давно замыслил поставить новую избу: целых пять лет лелеял он эту мысль, но все крепился почему-то и не решался привести ее в исполнение.

– Батюшка, – часто говорила ему жена, – полно тебе умом-то раскидывать! Сам погляди: крыша набок скосилась совсем, потолок плох стал – долго ли до греха! Того и смотри, загремит, всех подавит. Полно тебе, поставь ты новую избу.

– Ничего: долго еще простоит, – отвечал обыкновенно муж с видом величайшего равнодушия.

Со всем тем Глеб не пропускал ни одного из тех плотов, которые прогоняют по Оке костромские мужики, чтобы не расспросить о цене леса; то же самое было в отношении к егорьевским плотникам, которые толпами проходили иногда по берегу, направляясь из Коломны в Тулу. Он заботливо расспрашивал их, сколько возьмут они срубить новую избу, прикидывался в цене моха, уговаривался, по-видимому, окончательно, шел уже за задатком, но вдруг останавливался, снова начинал торговаться и снова откладывал свое намерение. Так продолжалось несколько лет. Наконец бог знает что случилось с Глебом Савиновым: стих такой нашел на него или другое что, но в одно утро, не сказав никому ни слова, купил вдруг плот, нанял плотников и в три дня поставил новую избу. Плотники были уже отпущены; оставалось покрыть только кровлю и вставить рамы. Семейство рыбака деятельно хлопотало вокруг нового здания.

Гришка-приемыш сидел верхом на «князьке», или макушке кровли, с граблями в руках. Связки соломы доставлялись ему с помощью длинного рычага, прикрепленного, наподобие колодезных журавлей, к вилообразной верхушке высокого столба, возвышавшегося посреди двора. К одному концу рычага привязана была тяжесть, для облегчения подъема; на другом конце, куда привязывалась солома, болталась длинная веревка, которою управлял Глеб. Неподалеку обе снохи (жена Петра и жена Василия) стояли с засученными по локоть руками подле бочки с водою и смачивали солому, назначенную для покрывки. На одном из подоконников нового здания сидел Ваня: свесив ноги во внутренность избы, перегнувшись всем корпусом на двор, он тесал притолоки и пригонял рамы. Против него, на взбудораженном омете соломы, возились дети Петра: старшему было уже девять лет, младшему – тому самому, который показывал когда-то кулачонки из люльки, – только что минуло семь. Они поминутно обращались к дяде Ивану, и каждый раз, как топор, приподнявшись, сверкал на солнце, оба скорчивали испуганные лица, бросались со всего маху в солому, кувыркались и наполняли двор визгом и хохотом, которому вторили веселые возгласы Глеба, понукавшего к деятельности то того, то другого, песни Гришки на верхушке кровли, плесканье двух снох и стук Иванова топора, из-под которого летели щепы. Между всеми этими шутивными, веселыми группами ходила взад и вперед тетушка Анна; она не принимала, по-видимому, никакого участия в стройке. Со всем тем лицо ее выражало более суеты и озабоченности, чем когда-нибудь; она перебегала от крылечка в клетушку, от клетушки к задним воротам, от задних ворот снова к крылечку, и во все время этих путешествий присутствовавшие могли только видеть одни ноги тетушки Анны: верхняя же часть ее туловища исчезала совершенно

за горшками, лагунчиками, скрывалась за решетом, корчагою или корытом, которые каждый раз подымались горою на груди ее, придерживаемые в обхват руками. Захватив иной раз второпях чересчур обременительную ношу, пыхтя и перегибаясь назад под тяжестью огромной корчаги, которая заслоняла ей глаза, она вдруг останавливалась, почувствовав под ногами какое-нибудь препятствие.

– Батюшки, уроню, подсобите! – вскрикивала старушка, поворачивая испуганное лицо к присутствующим.

Тут все бросали свою работу и бежали спасать старушку, которая, не чувствуя уже никаких преград под ногами, торжественно продолжала свое шествие. Взглянув на усердие и бережливость, с какими таскала она и ставила горшки свои, можно было подумать, что судьба нового жилища единственно зависела от сохранности этих предметов.

Время подходило к вечеру. Тень, бросаемая старой избою и соседним навесом, затопила уже двор и досягала до новой кровли, оставляя только яркую полосу света на князьке, где помещался приемыш, когда Глеб приказал снохам прекратить работу.

– Ну, бабы, шабаш! – произнес он, с самодовольствием осматривая избу. – Соломы ноне больше не потребуется. Завтра начнем покрывать другую половину кровли. До того времени Гришка выложит ее хворостом... Эй, Гришка!

– Ге... е!.. – отозвался приемыш на макушке.

– Перелезай на ту сторону. Время немного осталось; день на исходе... Завтра чем свет станешь крыть соломой... Смотри, не замешкай с хворостом-то! Крепче его привязывай к переводинам... не жалея мочалы; завтра к вечеру авось, даст бог, порешим... Ну, полезай... да не тормози руки!.. А я тем временем схожу в Сосновку, к печнику понаведаюсь... Кто его знает: времени, говорит, мало!.. Пойду: авось теперь ослобонился, – заключил он, направляясь в сени.

Минуту спустя он снова появился на дворе, но уже в шапке и с палкою в руке.

– Эй, Ванюшка!

– Я, батюшка, – отозвался Ваня, соскакивая с подоконника и подходя к отцу.

– Вот что... я было совсем запамятовал... Я чай, на ставни-то потребуется однотесу: в городе тогда не купили, так ты сходи без меня на озеро к Кондратию и одолжись у него. Он сказывал, есть у него гвозди-то.

– Сейчас, батюшка, – торопливо отвечал сын, – сейчас иду.

– Куды затормошилсЯ? Эвона! Рази я говорю: теперь ступай! Успеешь еще десять раз сбегать: время терпит. Наперед всего покончи дело с рамами и притолоками, тогда и ступай... Немного далече, к ночи домой поспеешь...

– Гей, батюшка! – крикнул Гришка, показывая над князьком свою черную голову, освещенную яркими лучами солнца.

– Чего там?

– Давай я схожу.

– Куда?

– Да на озеро. Моя работа не задержит, – и то, почитай, уж готово...

– Знай свое дело делай, об моем не сумлевайся. Знают про то большие, у кого бороды пошире, что кому делать: кому сказано, тот и пойдет! Ступай-ка, ступай...

Голова Гришки скрылась за князьком.

С некоторых пор, не мешая заметить, Глеб наблюдал, чтобы Гришка как можно реже бывал на озере; взамен этого он норовил посылать туда как можно чаще своего собственного сына. Все это, конечно, делалось не без особенной цели. Он задумал женить Ваню на дочери соседа. Зная озорливость приемыша и опасаясь, не без оснований, какого-нибудь греха с его стороны в том случае, если дать ему волю, старый рыбак всячески старался отбить у него охоту таскаться на озеро; это было тем основательнее, что времени оставалось много еще

до предположенной свадьбы. Глеб, израсходовавшись на новую избу, отложил свадьбу Вани до предбудущего лета.

– Смотри же, Ванюша, не запамятуй, спроси однотесу... Слышь?.. Как кончишь прилоки, так и ступай! – повторил Глеб, обращаясь к сыну, который после первого наказа отца так деятельно принялся за работу, что только щепки летели вокруг. – Ну, а вы-то что ж, касатушки? Разнежились, белоручки! – продолжал рыбак, поворачиваясь к снохам, стоявшим без дела. – Раненько отдыхать вздумали. С соломой покончили, принимайся за другое дело. Вам сказывай все! Самим не в догадку... Э-хе! Да вот хоть бы старухе-то подсобили; вишь, с ног смоталась совсем... Вишь, вишь... Эх ты, сердечная! – заключил он, подсмеиваясь и направляясь к воротам.

– Дедушка, и мы с тобой! – закричали в один голос дети Петра, кубарем скатываясь с омета.

– Куда, шут вас возьми совсем! Куда! Измаетесь: ведь я в Сосновку... Ступай домой!

– Нет, дедушка, пусти нас; мы вот толечко до ручья тебя проводим.

– Ну, до ручья можно; пойдём!.. Вишь, пострелы какие, а? Скажи на милость, провожать просятся... Ну, ну, ступай, ступай.

И, сопровождаемый ребятишками, старый рыбак исчез за воротами.

– Слава тебе, господи! Замучил совсем! – пробормотала жена Петра, бросаясь со всех ног на солому.

– И то... Ух, батюшки!.. Ног под собой не слышу, – сказала жена Василия, следуя ее примеру.

– Ну, что вы развалились, в самом-то деле-то?.. Экие бесстыжие, право!.. Право, бесстыжие!.. Чего разлеглись? – проговорила тетушка Анна, неожиданно появляясь перед снохами с лукошком на голове, с горшками под мышкой. – Совести в вас нет... Хотя бы людей посрамились... Одна я за все и про все... Ух, моченьки нет!.. Ух, господи!

Снохи лениво приподнялись и начали лениво подсоблять ей. Но так как старушка не давала им никакого дела и, сверх того, подымала ужаснейший крик каждый раз, как снохи прикасались только к какому-нибудь черепку, то они заблагорассудили снова отправиться на солому.

Ваня между тем продолжал так же усердно трудиться. Он, казалось, весь отдался своей работе и, не подымая головы, рубил справа и слева; изредка лишь останавливался он и как бы прислушивался к тому, что делалось на другой стороне кровли. Но Гришка работал так тихо, что его вовсе не было слышно.

– Гриша! – произнес наконец Ваня, заколачивая последнюю раму.

Ответа не было.

Ваня посадил острие топора в бревно и проворно обошел избу.

Гришка нигде не отыскивался.

Румянец живо заиграл тогда на щеках парня, и лицо его, за минуту веселое, отразило душевную тревогу. Он торопливо вернулся в избу, оделся и, не сказав слова домашним, поспешно направился к реке, за которой немолчно раздавались песни и крики косарей, покрывавших луга. Время подходило к Петровкам, и покос был в полном разгаре.

Достигнув того места на конце площадки, куда обыкновенно причаливались лодки, Ваня увидел, что челнока не было. Никто не мог завладеть им, кроме Гришки. Глеб пошел в Сосновку, лежавшую, как известно, на этой стороне реки. На берегу находилась одна только большая четырехвесельная лодка, которою не мог управлять один человек. Ваня недолго раздумывал. Снять с себя одежду, привязать ее на голову поясом – было делом секунды; он перекрестился и бросился в воду.

Вечер был уже на исходе. Уже нагорный берег делился темно-синюю стеною на чистом, ясном небе; темный, постепенно понижающийся хребет берега перерезывался еще кой-где в

отдалении светло-лиловыми, золотистыми промежутками: то виднелись бока долин, затопленных косыми лучами солнца, скрывавшегося за горою. Далее все завешивалось сквозным, розово-перламутровым паром. Холодная зубчатая тень, бросаема берегом, быстро бежала вперед, захватывая луга и озера, и только река одна, отражавшая круглые румяные облака, величественно еще сверкала в темно-зеленых берегах своих. Ваня не был лихим пловцом; но на этот раз особенною какою-то силой дышали его мышцы: он не замедлил очутиться на другом берегу Оки. Тут только убедился он окончательно, что предчувствия не обманули его; первый предмет, бросившийся ему в глаза, был челнок, который, очевидно, старались припрятать в кустах, но который, вытягивая мало-помалу веревку, высвободился из засады и свободно покачивался на поверхности воды. Ваня миновал кусты, поспешно выбрался на опушку и пошел отхватывать лугами. Сумерки между тем успели уже окутать весь луговой берег. Со всем тем здесь все еще кипело жизнью. Крику и шуму было даже более, чем в продолжение дня. Все спешили на отдых: трудовой день кончился. Восклидания, песни неслись со всех концов необъятного лугового простора. Влажный вечерний воздух, проникнутый запахом сена, был недвижим; слабейший звук не пропал для слуха. Несвязный говор, песни, иногда какой-нибудь отрывчатый, отдельный возглас, скрип телег, ржание жеребенка, раздававшееся бог весть где, – все это сливалось в один общий гул, разливавшийся мягкими волнами по окрестности. Всюду между рядами остроконечных стогов сена, верхушки которых становились уже мало-помалу темнее неба, мелькали белые рубахи косарей; бабы и ребята тянулись длинными кривливыми вереницами по всем направлениям; возы и лошади попадались на каждом шагу; кое-где артель работников, развалившись на росистой траве вокруг дымящегося котелка, собиралась ужинать; кое-где только что зажигались еще костры.

Ваня ходко шел вперед, ни на что не обращая внимания. Нередко приводилось ему встречаться с толпами баб и мужиков; но он норовил всякий раз обходить их. «Куда идешь, молодец?» – раздавалось иногда из толпы баб. «За делом!» – коротко отвечал парень и, не замечая даже плутовских взглядов, бросаемых на него какою-нибудь краснощекой, игривой бабенкой, продолжал путь. Сквозь густеющие сумерки он ясно различал верхушки ветел, орешника и ольхи, которые выступали из-за крутого, но покуда еще скрытого берега озера. По мере приближения к цели шаг его ускорялся, грудь волновалась сильнее. Вскоре очутился он на краю берега, кругом, как бахромою, покрытого листвою. Невозмутимая тишина, прерываемая отдаленными песнями и говором народа, который уходил все дальше и дальше к Оке и располагался ужинать, царствовала на озере. Неподвижно стояла его гладкая как зеркало поверхность, отражавшая звездное небо и темные купы деревьев, обступавших его окраину. Изредка разве проносился как словно неясный, какой-то замирающий звук... Ваня прислушивался: то плескалась рыба или протрещал чибез, спешивший в гнездо свое... Наконец сквозь ветки открылась лачужка дедушки Кондратия; но в ней, как и на озере, не было заметно признака жизни. Что бы это значило? Дедушка Кондратий не ложился так рано... Ваня направился к жилищу рыбака. Дверь была открыта. Бережно ступая по мокрой траве, он вошел в лачужку: там никого не было. «Что ж бы это значило, в самом деле? Куда ж девались хозяева?... Уж не пошел ли дедушка Кондратий к косарям вместе с дочкой?... Нет, ему незачем было идти к косарям!... Куда ж девался, наконец, Гришка?..» Задавая себе такие вопросы, Ваня обошел несколько раз лачужку. Нигде ни души. Он остановился и приложил уже ладони к губам, чтобы крикнуть: авось не отзовется ли кто на его голос; но в эту минуту послышался ему неподалеку чей-то затаенный говор... Бережно ступая по траве, он тотчас же прокрался в ту сторону. Дыхание сперлось в груди молодого парня, когда узнал он голоса Гришки и Дуни. Но сердце его забилося еще сильнее, когда, достигнув знакомой ему прогалины между кустами, увидел он их сидящих рядышком на краю берега; темные головы молодых людей четко обозначались на светлой поверхности озера, которое стлалось под их ногами.

Осадив шаг назад и стиснув зубы, которые шелкали как в лихорадке, Ваня притаился за куст и стал вслушиваться.

– Шт! Молчи, Гриша: словно кто-то идет, – произнесла Дуня, пугливо озираясь на стороны.

– Вот! Кому теперь идти! Батька твой, чай, еще и до Комарева не доплелся; косари сели ужинать... Вот разве Ванька; да нет! Небось не придет! Челнок со мною на этой стороне; плавать он не горазд; походит, походит по берегу да с тем и уйдет!..

– Ох, боюсь я, Гриша, смерть боюсь...

– Чего?

– Ну, а как он догадается, что ты здесь... так инда сердце все задрожит...

– А леший его возьми, пускай его догадывается! Нам не впервые мериться кулаками...

– А как он да отцу скажет?

– А пускай его сказывает! Я нешто боюсь? Ездил на косарей поглядеть, да и вся недолга.

– А все как словно страшно... Да нет, нет, Ваня не такой парень! Он хоть и проводит, а все не скажет... Ах, как стыдно! Я и сама не знаю: как только повстречаюсь с ним, так даже вся душа занает... так бы, кажется, и убежала!.. Должно быть, взаправду я обозналась: никого нету, – проговорила Дуня, быстро оглядываясь. – Ну, Гриша, так что ж ты начал рассказывать? – заключила она, снова усаживаясь подле парня.

– А вот что: примечаю я, старый за мной приглядывает.

– С чего же?

– А кто его знает с чего! Должно быть...

– Перестань, Гриша... За что ты его не любишь? Грешно тебе...

– Эвона! Что он, сродни мне, что ли?

– А все грешно так-то говорить тебе! За что? Они тебе были отцами, возрастили, ходили словно за родным...

– Ну да, видно, за родным... Я не о том речь повел: недаром, говорю, он так-то приглядывает за мной – как только пошел куда, так во все глаза на меня и смотрит, не иду ли к вам на озеро. Когда надобность до дедушки Кондратия, посылает кажинный раз Ванюшку... Сдается мне, делает он это неспроста. Думается мне: не на тебя ли старый позарился... Знамо, не за себя хлопочет...

– Нет, Гриша, не пойду я...

– Вашего брата не спрашивают: велят – пойдешь...

– Нет, не пойду, не пойду за Ваню! Как перед господом богом, не будет этого.

– Силой выдадут! Уж коли старый забрал что в голову, вой не вой, а будет, как ему захочется... Я давно говорю тебе: полно спесивиться, этим ничего не возьмешь... Ты мне одно только скажи, – нетерпеливо произнес Гришка, – одно скажи: люб я тебе или нет?.. Коли нет...

– Люб, Гриша, люб! О! Пуще отца родного! – с жаром воскликнула Дуня.

Тут колени Вани так сильно задрожали, что он едва удержался на ногах. Бедный парнюха хотел оправиться, сделал какое-то крайне неловкое движение, ухватился второпях за сук, сук треснул, и Ваня всею своею тяжестью навалился на куст. В ту же секунду поблизости послышалось падение чего-то тяжелого в воду, и вслед за тем кто-то вскрикнул.

Ваня быстро вскочил на ноги, бросился вперед и лицом к лицу столкнулся с Дуней.

– Не бойся: это я, – сказал он совершенно взбудораженным голосом, которому тщетно старался придать твердость.

– Ты, Ваня?.. Ах, как я испугалась! – проговорила Дуня с замешательством. – Я вот сидела тут на берегу... Думала невесть что... вскочила, так инда земля под ногами посыпа-

лась... Ты, я чай, слышал, так и загремело? – подхватила она скороговоркою, между тем как глаза ее с беспокойством перебегали от собеседника к озеру.

– Так стало... ты здесь одна была? – нерешительно проговорил Ваня, украдкой взглядывая на озеро.

На гладкой поверхности его, слегка зазубренной серебристыми очертаниями разбегающегося круга, виднелось черное пятно, которое быстро приближалось к противоположному берегу.

– Да ты, видно, к батюшке, Ваня? Батюшка ушел в Комарево, – торопливо поспешила сообщить девушка.

В эту самую минуту слабый треск дальних кустов возвестил, что темное пятно, видневшееся на поверхности воды, благополучно достигло берега.

– Что ж ты здесь стоишь, Ваня? – сказала вдруг девушка изменившимся и, по-видимому, уже совсем спокойным голосом. – Пойдем в избу: может статься, надобность есть какая? Может статься, тебя отец прислал? Обожди: батюшка скоро вернется.

– Нет... я так... Батюшке... однотесу, вишь, понадобилось, – пробормотал Ваня, мешаясь и прерываясь на каждом слове.

– Так ты обожди: батюшка скоро вернется... Пойдем, что стоять-то! – вымолвила Дуня, направляясь к лужайке.

Ваня последовал за нею, но, сделав три шага, остановился.

– Что ж ты? – спросила девушка, поворачивая к нему голову.

– Нет, я уж лучше завтра зайду, – произнес парень с самым неловким видом.

– Что ж так?

– Да так... завтра уж оно лучше... теперь пора домой... Прощай, Дуня!..

– Экой чудной какой! Да куда ты? Обожди!

– Нет, уж не приходится!.. Прощай!

– Прощай, Ваня... Заходи же завтра; я батюшке скажу... Прощай!

Но Ваня ничего не слышал: он был уже далеко.

«Так вон они как! Вот что. А мне и невдомек было! Знамо, теперь все пропало, кануло в воду... Что ж! Я им не помеха, коли так... Господь с ними!» – бормотал Ваня, делая безотрадные жесты и на каждом шагу обтирая ладонью пот, который катился с него ручьями. Ночь между тем была росистая и сырая. Но он чувствовал какую-то нестерпимую духоту на сердце и в воздухе. Ему стало так жарко, что он принужден даже был распахнуть одежду.

Вскоре он очутился посреди лугов.

Но на этот раз никто уже не приветствовал молодого парня. Здесь все уже безмолвствовало. Темным неоглядно-далеким пологом расстилались луга. Торжественно-тихо раскидывалось над ним синее ровное небо, усеянное мерцающими звездами. Чуть-чуть видными пятнами мелькал развалившийся по траве народ. Костры уже погасли. Где-где, подле груды тлеющих, покрытых седым пеплом угольев, сидела баба и, покачивая люльку, задумчиво склонив голову над уснувшим младенцем, тихо напевала заунывную колыбельную песню... Все безмолвствовало. Даже самые шаги молодого парня стали раздаваться слабее, слабее, и те наконец смолкли. Ваня ступал уже по песку и приближался к Оке. Он прямо пошел к тому месту, где находился челнок. Но челнока уже не было. При этом движение какого-то невольного отчаяния пробудилось вдруг в душе молодого парня; кровь хлынула к его сердцу; как словно туманом каким окинулось все перед глазами. Но это продолжалось недолго. Он поднял глаза и взглянул на ту сторону: черной, мрачной стеною подымался нагорный берег; там, далеко-далеко, в одном только месте приветливо мигал огонек... То, быть может, старуха мать поправляет лучину, выжидая запоздавшего сына... Ваня провел рукою по лбу, как бы стараясь опомниться, торопливо прошептал молитву, перекрестился и бросился в воду, не

выпуская из глаз огонька, который продолжал мигать ему, отражаясь дрожащею золотистою ниткой на гладкой поверхности Оки, величаво сверкавшей посреди ночи.

Часть вторая

Х

Обманутое ожидание

Прошло несколько месяцев после происшествия на озере – происшествия, которое так сильно взволновало сердце младшего сына рыбака Глеба Савинова.

В последних числах апреля, после обеда, Глеб, Ваня и приемыш работали неподалеку от новой избы, на верхнем конце площадки. Приближалось водополье. Старый рыбак и молодые помощники его приготавливали все нужное для начала рыбной ловли, которая считает разлив реки лучшим своим временем. Они спешили управиться с саками, баграми, вершами и сетями: кое-где требовалось вплести новый венец из ивняка, там недоставало нескольких петель, здесь следовало подвязать новый поплавок и проч., и проч. Зима хотя и длинна, а всего не усмотришь.

Принимая в соображение шум и возгласы, раздававшиеся на дворе, можно было утвердительно сказать, что тетушка Анна и снохи ее также не оставались праздными. Там шла своего рода работа. И где ж видано, в самом деле, чтобы добрые хозяйки сидели сложа руки, когда до светлого праздника остается всего-навсего одна неделя!

Нечего, разумеется, говорить о тех заботах, которые связываются с крашением яиц, печением куличей и приготовлением пасхи: все это было покуда еще впереди. Но всякий согласится, я думаю, что мытье полов, чистка избы, стирка и заготовление кой-каких обнов (последнее производится обыкновенно втайне, но возбуждает тем не менее более толков, чем первые хозяйственные хлопоты) представляют также немаловажную статью. Несмотря, однако ж, на все эти многосложные занятия, наши хозяйки, очевидно, больше кричали и шумели, чем делали дело. Работа их подвигалась из рук вон плохо. И тетушка Анна и снохи ее поминутно выбегали за ворота. Примеру их даже следовали дети Петра. Все с нетерпением устремляли тогда глаза на посиневшую Оку и дальний луговой берег, уже совсем почти освободившийся от снега.

Дело в том, что с минуты на минуту ждали возвращения Петра и Василия, которые обещали прийти на побывку за две недели до Святой: оставалась между тем одна неделя, а они все еще не являлись. Такое промедление было тем более неуместно с их стороны, что путь через Оку становился день ото дня опаснее. Уже поверхность ее затоплялась водою, частью выступавшею из-под льда, частью приносимую потоками, которые с ревом и грохотом низвергались с нагорного берега.

Был именно один из тех сырых, сумрачных дней, которые ускоряют оттепель лучше самого яркого солнца. Густой туман покрывал землю. Теплый, влажный южный ветер – «мокряк», как называют его рыбаки, – видимо, казалось, съедал остатки рыхлого почерневшего снега. Темно-синяя полоса, висевшая неподвижно уже несколько суток сряду над горизонтом, предвещала, в совокупности с такими же верными признаками, надолго установившееся тепло. Глеб, в совершенстве постигавший значение самых неуловимых перемен воздуха, давно еще предсказал такую погоду. Старый рыбак никогда не ошибался: закат солнца, большая или меньшая яркость утренней зари, направление ветра, отблеск воды, роса, поздний или ранний отлет журавлей – все это осуществляло для него книгу, в которой он читал так же бойко и с разумным толком, как разумный грамотей читает святы. Реку со всеми ее годичными изменениями и причудами знал он как свои пять пальцев. Многие приметы, основанные на долгом опыте, говорили ему, что не сегодня, так завтра Ока взло-

мает лед и разольется дружною водою. Соображаясь с этим, он за несколько дней перетаскил лодки на верхнюю часть площадки. Позднее вскрытие реки не предвещало ничего худого для промысла. Глеб был, следовательно, доволен и спокоен. Одного разве недоставало для полного довольства Глеба – недоставало сыновей, которых так долго и так напрасно все ждали.

– Шут их знает, чего они там замешкали! – говорил он обыкновенно в ответ на скорбные возгласы баб, которые, выбежав за ворота и не видя Петра и Василия, обнаруживали всякий раз сильное беспокойство. – Ведь вот же, – продолжал он, посматривая вдаль, – дня нет, чтобы с той стороны не было народу... Валом валит! Всякому лестно, как бы скорее домой поспеть к празднику. Наших нет только... Шут их знает, чего они там застряли!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.